

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

СРАВНИТЕЛЬНО- ИСТОРИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКОВ РАЗНЫХ СЕМЕЙ

•
ЛЕКСИЧЕСКАЯ
РЕКОНСТРУКЦИЯ.
РЕКОНСТРУКЦИЯ
ИСЧЕЗНУВШИХ
ЯЗЫКОВ
•



1164688

МОСКВА "НАУКА" 1991

Авторы:

А.С. МЕЛЬНИЧУК, Л.А. ГИНДИН, И.А. КАЛУЖСКАЯ, В.И. АСЛАНОВ,
В.П. КАЛЫГИН, О.С. ШИРОКОВ, С.А. РОМАШКО, Н.З. ГАДЖИЕВА,
Е.А. ХЕЛИМСКИЙ, В.И. БЕЛИКОВ

Редакционная коллегия:

Г.И. АНДРЕЕВА (ответственный секретарь)
доктора филологических наук
Н.З. ГАДЖИЕВА, В.К. ЖУРАВЛЕВ, В.П. НЕРОЗНАК

Ответственный редактор

доктор филологических наук Н.З. ГАДЖИЕВА

Рецензенты:

доктор филологических наук Г.А. Климов
доктор филологических наук А.А. Уфимцева

Редактор издательства В.С. Матюхина

Сравнительно-историческое изучение языков разных семей:
С75 Лексическая реконструкция. Реконструкция исчезнувших языков/
А.С. Мельничук, Л.А. Гиндин, И.А. Калужская и др.; Ин-т язы-
кознания АН СССР. — М.: Наука, 1991. — 120 с.

ISBN 5-02-010972-X

В свете достижений современной компаративистики в монографии рассмат-
ривается широкий круг теоретических вопросов, связанных с особенностями
реконструкции на лексическом уровне, а также специфические проблемы,
возникающие при обращении к конкретному материалу. Исследуются возмож-
ности восстановления исчезнувших языков и отдельных фрагментов их систем
на основе ограниченного корпуса данных.

Для лингвистов-компаративистов, аспирантов и студентов.

С 4602000000—083 669 - 91 I полугодие
042(02)-91

ББК 81

**Comparative-Historical Studies of Various Language Families:
Reconstruction at the Lexical Level. Reconstruction of Extinct
Languages.**

This volume deals with general theoretical matters and individual problems of
the reconstruction at the lexical level as well as the reconstruction of extinct languages.
The latter comprises attempts to reconstruct both entire language systems as well as
their fragments.

The book is meant for scholars, students and post-graduates majoring in comparative lin-
guistics.

ISBN 5-02-010972-X

© Издательство "Наука", 1991

ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемый читателю коллективный труд является продолжением монографических исследований, посвященных проблемам реконструкции: "Сравнительно-историческое изучение языков разных семей. Теория лингвистической реконструкции" и "Сравнительно-историческое изучение языков разных семей. Реконструкция на отдельных уровнях языковой структуры". Если в предыдущих работах рассматривались различные аспекты теории лингвистической реконструкции как основополагающей процедуры сравнительно-исторического языкознания, а также специфика реконструкции на отдельных уровнях языковой структуры: фонетическом, морфологическом, синтаксическом, то в данной книге осуществляется переход от реконструкции на отдельных уровнях к различным аспектам комплексной реконструкции.

Хотя лексика и представляет собой один из уровней языковой системы, ее своеобразие как уровня таково, что лексическая реконструкция предполагает комплексное решение, включающее как данные о различных элементах внутренней системы языка, так и сведения экстралингвистического характера. В самом деле, восстановление и отдельных элементов лексической системы, и системных отношений различного объема в лексике немыслимо без обращения к результатам, полученным в ходе изучения праязыковых закономерностей других уровней: фонетического, морфологического, в ряде случаев — и синтаксического. Изучение специфики отдельных лексических групп праязыка — в первую очередь так называемой поэтической лексики — предполагает обращение к проблемам реконструкции праязыковых текстов, т.е. учет условий функционирования лексики в процессе коммуникации.

В то же время характеристика содержательной стороны праязыковых лексических единиц требует учета не только типологических (как синхронных, так и диахронных) закономерностей семантики, но и экстралингвистических данных, касающихся тех реалий, которые обозначались этими лексическими единицами. Тем самым лексическая реконструкция оказывается перед необходимостью пользоваться данными широкого круга наук о прошлом: археологии, истории, палеографии, палеоботаники и т.п. Так через лексику лингвистическая реконструкция смыкается с культурологической реконструкцией. В результате лексическая реконструкция носит итоговый, обобщающий характер.

В еще большей степени обобщающий характер носит реконструкция исчезнувших языков. Как правило, исходной точкой в их реконструк-

ции оказывается все та же лексика: именно этот уровень дает первичные сведения о существовавшем в прошлом и затем исчезнувшем языке (гlossы, ономастический материал, лапидарные эпиграфические памятники). В то же время во многих случаях принципиально важной оказывается возможность реконструкции на других уровнях (например, фрагментов грамматической системы хазарского языка) и тем самым обобщающей характеристики языковой системы утраченного языка. Разумеется, это невозможно без использования данных сравнительной грамматики, типологии и ареальной лингвистики. Чрезвычайно важное значение имеют в реконструкции исчезнувших языков и данные других наук, позволяющие учитывать факты этнической и социальной истории, эволюции материальной и духовной культуры.

В монографии рассматриваются принципиальные методологические проблемы реконструкции, такие, как ее системность, возможности и ограничения в применении отдельных приемов, абсолютная и относительная хронология языковых изменений, роль типологии и ареальной лингвистики в сравнительно-исторических исследованиях. Как и в предыдущих публикациях, теоретические проблемы, как правило, рассматриваются через призму конкретного языкового материала. В книге широко используются данные индоевропейских языков, так как именно индоевропеистика обладает наиболее богатыми традициями в области сравнительно-исторического языкознания. При этом особое внимание уделяется славянскому и палеобалканскому материалу, исследование которого в последние десятилетия оказалось весьма плодотворным. Наряду с этим проблемы реконструкции раскрываются и на материале языков других семей: тюркских и самодийских. Отдельное исследование посвящено креольским языкам, своеобразие которых ставит перед сравнительно-историческим языкознанием новые проблемы.

ВОПРОСЫ РЕКОНСТРУКЦИИ ЛЕКСИЧЕСКОГО СОСТАВА ПРАЯЗЫКОВ

Языковые общности как объекты лингвистического исследования могут различаться между собой в зависимости от того, какое место они занимают в диахронической ретроспективе по отношению друг к другу и к исследователю. Одним из типов таких языковых общностей являются праязыки. Рассматриваемые с этой точки зрения праязыки представляют собой различные по своему конкретному характеру языковые общности диахронического плана, которые могут быть исследованы при помощи сравнительно-исторического метода путем сопоставления наследуемых от них знаковых элементов новых языковых общностей, возникших на их основе.

Реконструируемые при помощи сравнительно-исторического метода на материале родственных языков, принадлежащих к одной и той же группе или семье, различные структурные элементы праязыка могли возникать на разных этапах развития праязыка или же могли быть унаследованы им из предшествовавшего ему языкового состояния. Установить относительную хронологию их возникновения в большинстве случаев невозможно. В связи с этим некоторые исследователи (И. Шмидт, Э. Палгрэм, В. Пизани и др.) считают невозможной реконструкцию праязыка, поскольку реконструируемые элементы могли принадлежать к разным хронологическим срезам и, следовательно, к различным языковым системам. Но при этом не учитывается, что все генетически связанные элементы, сохранившиеся в нескольких родственных языках, независимо от времени их появления в праязыке, должны были обязательно сосуществовать на последнем этапе его развития, т.е. в период распада праязыка, иначе они не могли быть унаследованы родственными языками. Сам же период распада праязыка не может быть сведен к мгновенному хронологическому срезу: это длительный и сложный процесс, который в отдельных случаях может занимать несколько столетий (как, например, в праславянском) и даже целые тысячелетия (как в индоевропейском). Распад праязыка начинается с выделения из него наиболее древнего члена образующейся на его основе семьи или группы родственных языков, продолжение же восходящих к праязыку процессов может охватывать и выделившиеся из него родственные языки еще в течение нескольких столетий после его окончательного территориального расчленения. Таким образом, реконструируемые на основании фактов родственных языков структурные элементы, за определенными исключениями, следует рассматривать как компоненты единой более древней языковой системы, характеризовавшей последний, иногда

весьма длительный, период развития праязыка. При этом трудности, с которыми приходится иметь дело в процессе установления относительной хронологии возникновения в праязыке реконструируемых элементов, не исключают возможностей выделения в хронологических пределах праязыка и даже предшествовавших ему состояний некоторых последовательностей языковых изменений. Эти возможности увеличиваются с расширением объема данных, предоставляемых родственными языками, и с углублением получаемых в результате реконструкции научных представлений о структуре праязыка.

Таким образом, неодновременность возникновения в праязыке различных структурных элементов, сохраняющихся в родственных языках, не дает оснований для утверждения обо отсутствии такого периода в развитии праязыка, когда эти элементы существовали совместно, и тем самым не может служить аргументом для отрицания возможности или научной обоснованности реконструкции праязыка.

С вопросом о возможности и целесообразности реконструкции праязыка не следует смешивать вопрос о степени полноты и адекватности получаемой реконструкции. Вполне очевидно, что праязык не может быть реконструирован полностью, поскольку более или менее значительная часть данных, необходимых для полной реконструкции даже последнего этапа его развития, безвозвратно утрачивается во всех родственных языках. Получаемые реконструкции не могут считаться абсолютно адекватными, со всей точностью воспроизводящими действительные свойства их прототипов, обнаруживавшиеся в праязыке, так как сохраняющиеся в родственных языках данные не всегда бывают достаточно полными для такой реконструкции, а отсутствие нереконструированных звеньев системы праязыка не позволяет с абсолютной точностью определить функции реконструированных элементов системы. Но неполнота и неадекватность характерны и для любой абстрактной научной системы языка по отношению к реальной системе объективно существующего и непосредственно наблюдаемого языка, что, однако, не служит основанием (за пределами философии агностицизма и позитивизма) для отрицания объективной значимости абстрактной научной системы языка. Степень же соответствия как абстрактной научной системы языка реально существующему языку, так и получаемой реконструкции праязыка реально существующему праязыку с развитием языкознания неуклонно возрастает.

Комплексная реконструкция общей системы праязыка как языковой общности, выделяемой в диахроническом плане, складывается из реконструкции ее отдельных подсистем — фонетической, морфологической (флективной), словообразовательной и лексической. Элементарными структурными единицами этих подсистем являются соответственно фонемы (и их варианты), флективные морфемы, словообразовательные морфемы (аффиксы) и распространители корней, лексические корни (вместе с их распространителями) и словообразовательные основы. Наиболее актуальное значение на современном этапе развития сравнительно-исторического языкознания приобрели вопросы реконструкции лексического состава праязыков, выделяемые в особый

раздел лингвистической компаративистики — этимологию. Актуальность этих вопросов обусловлена рядом обстоятельств, в том числе такими, как наиболее массовый характер лексических элементов праязыка, наименьшая степень их изученности по сравнению с элементами других подсистем праязыка, нерешенность вопроса о возможностях системного подхода к реконструируемым элементам лексического состава праязыка, непосредственная связь большинства элементов лексического состава праязыка с внеязыковыми условиями и особенностями жизни пранарода и др.

К настоящему времени в реконструкции лексического состава отдельных праязыков достигнуты значительные успехи. При этом степень полноты и адекватности реконструкций зависит в первую очередь от величины хронологического расстояния между реконструируемым праязыком и временем фиксации данных родственных языков, используемых для его реконструкции. Реконструкция лексического состава праязыка отдельной группы близкородственных языков оказывается несравненно более полной и адекватной, чем реконструкция лексического состава праязыка большой семьи родственных языков, состоящей из нескольких групп. Составляемые в настоящее время параллельно в Москве (под руководством О.Н. Трубачева) и в Польше (под руководством Ф. Славского) словари праславянского языка [ЭССЯ; SP] отражают основную массу лексики праславянского языка с практически незначительными пропусками (в 10 выпусках московского словаря, охватывающих слова на буквы А—К латинского алфавита, до слова *конь* включительно, содержится 5241 слово, откуда следует, что в полном своем составе этот лексикографический труд будет содержать около 20 тыс. реконструированных лексических единиц праславянского языка). Все слова, принадлежащие к морфологически изменяемым частям речи, представлены здесь в их исходных флексивных формах. В этимологических словарях семей родственных языков, в частности индоевропейской, задача реконструкции исходных словоформ изменяемых слов для праязыка (в частности, индоевропейского) в силу различных трудностей вообще не ставится (по крайней мере на современном этапе). Для индоевропейского праязыка реконструируются в основном корни (элементарные и распространенные, производные лексические основы) и лишь в отдельных случаях целые исходные словоформы (именные). В "Индоевропейском этимологическом словаре" Ю. Покорного содержится около 1800 таких реконструированных элементов лексического состава индоевропейского праязыка [Pokorny, 1959—1969]. Для реконструкции этих элементов здесь привлечено около 50 тыс. слов различных индоевропейских языков [Pokorny, 1969, II, В, 8].

При диахроническом (генетическом) подходе системное изучение лексического состава языка (в данном случае праязыка) начинается с отмежевания элементов (корней, основ и отдельных слов), принадлежавших праязыку, от элементов, появившихся в отдельных родственных языках после распада праязыка. Принадлежность лексических элементов к праязыку устанавливается путем выявления этимологической, т.е. генетической, связи этих элементов с другими

элементами, несомненно относящимися к праязыку. Выявление генетических связей между лексическими элементами отдельной языковой общности ведет к установлению общей системы генетических связей, объединяющей основную часть лексического состава данной языковой общности. Такая система состоит из этимологических микрогнезд (т.е. групп слов, образованных от одного варианта элементарного или распространенного корня), объединяющихся в этимологические макрогнезда, каждое из которых включает в свой состав все этимологически родственные микрогнезда. Между макрогнездами устанавливаются генетические отношения отрицательного характера: каждое этимологическое макрогнездо отличается от всех остальных как генетически не связанное с ними.

Критерий генетических связей, лежащий в основе формирования такой системы, в методическом плане противостоит критерию функциональных связей, на основе которых в первую очередь формируются лексические системы при изучении живых или письменно зафиксированных мертвых языков. Однако эти два аспекта лексической системы как при изучении живых языков, так и при исследовании праязыков вступают в отношение взаимной дополняемости. Результаты исследования генетических связей в лексической системе в значительной и самой существенной своей части совпадают с результатами исследования функциональных связей. Поскольку каждая реконструируемая генетическая связь между лексическими элементами праязыка восходит к определенному акту словообразования, система генетических связей в составе лексики праязыка представляет собой по существу синхроническую систему деривационных отношений между лексическими единицами, а эта система охватывает и наиболее устойчивый слой синхронической системы семантических отношений. Вместе с тем, поскольку реконструкция лексики включает в себя также реконструкцию лексической семантики, на основе реконструированных лексических элементов воссоздается с различной степенью полноты и система семантических — главным образом синонимических и антонимических — отношений, охватывающая все реконструированные элементы, независимо от характера их генетических взаимоотношений.

Из всего сказанного вытекает, что первостепенное значение для исследования лексической системы праязыка имеет возможно более полное выявление генетических (т.е. этимологических) связей между лексическими единицами, сохранившимися в родственных языках. Это, в свою очередь, ведет к необходимости дополнения устоявшихся со времени младограмматиков научных основ этимологизирования новыми, фактически уже открывшимися возможностями. Речь идет не о модных теориях типа ларингальной, получавшей чуть ли не у каждого своего сторонника особое толкование и необоснованное применение, а об учете и обобщении реальных фактов, давно уже признаваемых по отдельности, но не осмысляемых в совокупности. На фоне этих фактов большую реальность и определенность приобретает и ларингальная гипотеза.

Открытие звуковых законов и всеобщего, не знающего исключе-

ний, их действия привело в этимологии к установлению обязательного требования прямолинейного, соответствующего установленным законам, совпадения звукового состава корней в признаваемых родственными словами. В течение многих десятилетий общепринятая методика этимологических исследований не допускала возможности учета затерявшихся звуковых законов, результаты действия которых сохраняются лишь в отдельных пережиточных явлениях, а также других особенностей формирования структуры корней, проявляющихся в отдаленном прошлом и обусловивших определенную вариативность структуры корней, наблюдаемых в настоящее время. Упрощенное понимание характера семантических отношений между родственными лексическими образованиями со своей стороны не способствовало углублению этимологических исследований. В результате был получен перечень изолированных друг от друга этимологических микрогнезд, возводимых к индоевропейскому праязыку, и большое множество отдельных слов в каждом индоевропейском языке, остающихся без этимологического объяснения. Несмотря на сильное давление фактов, находящее свое отражение в таких этимологических словарях, как "Индоевропейский этимологический словарь" Ю. Покорного, возможность непосредственной генетической связи между различными выделенными этимологическими микрогнездами, а следовательно, и между корнями, обнаруживающими лишь незначительные фонетические различия, в принципе не признается. Даже такие семантически близкие лексические образования, почти тождественные не только в звуковом, но нередко и в словообразовательном отношении, как лат. *castro* 'обрезаю', *castrum* 'укрепление, лагерь', др.-инд. *śasti* 'режет, убивает', *śastrām* 'нож, кинжал', с одной стороны, и праслав. *česati*, *kositi*, *kosa*, *kosterь*, лтш. *kasiti* 'чесать, скоблить, скородить, рыть, копать', с другой стороны, до сих пор не получили общепринятого признания своей генетической тождественности. Большинство исследователей (А. Мейе, Э. Бернекер, М. Фасмер, Я. Фриск) пытается их разделить ввиду того, что латинские слова принято возводить вместе с древнеиндийскими к корню **kes-*, содержащему палатальный *k*, между тем как славянские и балтийские слова обнаруживают в корне рефлекс *k* непалатального. От этого же этимологического гнезда многие исследователи вместе с балтийскими и славянскими словами отрывают также греч. *κεάζω* (<**kesa-*) 'раскалываю', *κεῖω* (<**kesio*) 'то же', *κεοκλον* 'костра, пакля' только на том основании, что они имеют корневой гласный *e*, чередующийся с *o*, между тем как латинский и, по их мнению, индийский языки обнаруживают корневой гласный *a*. В абсолютной изоляции от этого гнезда рассматривается корень **kers-*, содержащийся в таких словах, как др.-инд. *krśāti*, *karṣati* 'пашет', лат. *carro* (<**carso*) 'чешу', ср.-н.-нем. *harst* 'грабли', хет. *karš-* 'обрезать', тох. А *kāršt-*, В *kāršt* 'обрезать, разрушать'; лит. *karšiù* 'чешу', ст.-чеш. *črcha* 'линия' и др. В случаях с неясными семантическими отношениями вопрос о сближении подобных корней даже не возникает.

За исключением так называемых распространителей корня, приближающихся по своей структурной функции к древнейшим суффиксам

основ, но лишенных четко определенной суффиксальной семантики, никакие другие видоизменения звукового состава корня в классической теории сравнительно-исторического метода не допускаются. Между тем исследовательская практика со всей очевидностью показывает, что производимый при сопоставлении семантически близких слов учет звуковых законов, при всей их надежности и важности, представляет собой лишь первое и абсолютно обязательное условие правильности всякой этимологической разработки, однако ни в коей мере не обеспечивает завершенности такой разработки. Становится все более ясным, что отношения между этимологически связанными словами далеко не всегда ограничиваются непосредственной семантической близостью и классически закономерными звуковыми соответствиями.

Давно уже отмечено, что наряду с закономерно соответствующим звуковым оформлением этимологически родственные корни могут обнаруживать в своем составе генетически разные согласные, различающиеся, как правило, каким-нибудь одним дифференциальным признаком, чаще всего звонкостью/глухостью, придыхательностью/непридыхательностью прерывных или (в языках группы *satəm*) палатальностью/непалатальностью заднеязычных. Итоги первых наблюдений над этими явлениями были подведены уже более 50 лет назад в работе Г. Хирта "Индоевропейская грамматика" [Hirt, 1927]*. Здесь приводятся обнаруженные к тому времени многочисленные примеры параллелизма в семантически тождественных или близких корнях глухих и звонких согласных, в том числе *p ~ b* (из них 13 случаев в неначальной позиции типа и.-е. **deup- ~ *deub-* 'глубокий' и 4 случая в начальной позиции типа и.-е. *pō- ~ bō-* 'пить'), *t ~ d* (из них 12 в неначальной позиции типа лат. *quattuor ~ quadru-* и 4 в начальной типа и.-е. **del- ~ *tel-* 'далекий, длинный'), *k ~ g* (из них 22 в неначальной позиции типа и.-е. **pak- ~ *pag-* 'укреплять' и 8 в начальной типа лат. *columba ~* праслав. *golqby*); глухих и придыхательных, в том числе *p ~ bh* (из них 5 в неначальной позиции типа и.-е. **leip- ~ *leibh-* 'лечить, замазывать жиром' и множество в начальной типа **porĕ ~ *bhork* 'свинья'), *t ~ dh* (из них один случай в неначальной позиции — и.-е. **ghort- ~ *ghordh-* 'огород' и ряд случаев в начальной позиции типа и.-е. **trāgh- (*trēgh-) ~ dhreĝ-* 'тянуть'), *k ~ gh* (4 в неначальной позиции типа и.-е. **mak- ~ *magh-* 'мочь' и ряд случаев в начальной позиции типа и.-е. **kab- ~ *ghab-* 'хватать, брать'); звонких и придыхательных, в том числе *b ~ bh* (11 в неначальной позиции типа и.-е. **labh- ~ *lamb-* 'хватать' и 4 в начальной типа и.-е. **bā- ~ bhā-* 'говорить'), *d ~ dh* (6 в неначальной позиции типа греч. *ἀλθαίνω* 'лечу' — *ἀλδαίνω* 'ращу' и 4 в начальной типа и.-е. **dhur- ~ *dur-* 'дверь, двор'), *g ~ gh* (8 в неначальной позиции типа и.-е. **meg- ~ *megh-* 'большой' и 8 в начальной

* Ср., например, список "неузаконенных" фонетических соответствий, выявленных В. Махеком на основе этимологического материала [Machek, 1971]. Обоснование таких "незаконных законов" — актуальнейшая задача сравнительно-исторической фонетики индоевропейских языков [примеч. редколлегии].

типа и.-е. **grebh-* ~ **ghrebh-* 'царапать'); непалатализованных и палатализованных заднеязычных в языках группы *satəm*, в том числе *k* ~ *k'* (29 примеров типа и.-е. **akm-* ~ **akm-* 'камень', **kes-* ~ ***kes-* 'резать, рубить'), *g* ~ *g'* (7 примеров типа и.-е. **bhreg-* ~ **bhreg-* 'блестеть', **gen-* ~ ***gen-* 'давить'), *gh* ~ *g'h* (9 примеров типа и.-е. **angh-* ~ ***angh-* 'узкий', **ghel-* ~ ***ghel-* 'блестеть; желтый'); лабиовелярных и лабиальных в языках группы *centum* в том числе *k^u* ~ *p* (8 примеров типа лат. *aqua* 'вода' ~ прус. *ape* 'река'), *g^u* ~ *b* (один пример и.-е. **uag^u-* ~ ***uab-* 'кричать'), *gh^u* ~ *bh* (6 случаев типа и.-е. **gh^uen-* ~ ***bhen-* 'бить') и др. [Hirt, 1927, 239—240, 298—305]. Не все из приведенных Г. Хиртом случаев действительно отражают указанные чередования, однако большинство их никаких сомнений в этом плане не вызывает. В ряде последующих работ эти случаи подверглись уточнениям и дополнениям [см.: Stang, 1967, с. 1890—1894; Swadesh, 1970, 1—16; Чекман, 1974, 116—135; Нерознак, 1978, 12; Семереньи, 1980, 79]. Последовательный и внимательный учет возможностей такого параллелизма согласных при рассмотрении семантически близких корней является одним из неперенных условий дальнейшего углубления этимологических исследований. Количество случаев этого параллелизма намного увеличивается, если его рассматривать в связи с параллелизмом различных инфиксов и различной, не ограничивающейся чередованием *e* ~ *o*, огласовки соответствующих корней.

Положение о множественности инфиксов в индоевропейском языке напрашивается *a priori*. Широкое функционирование в роли инфикса сонанта *n* само по себе вызывает предположение о возможности подобного функционирования в индоевропейском других сонантов. Объективно подтверждающие это предположение факты типа лит. *gedduti* 'желать', праслав. *žedati* 'желать' и *ž^blǫdēti* 'жаждать' или подробно исследованного Ф. Славским на славянском материале параллелизма огласовки *e* и *u* в родственных корнях давно известны [SP, 1974—1984], но надлежащие выводы из этих фактов сделаны не были. Изданная посмертно монография Г. Карстина об индоевропейских инфиксах [Karstien, 1971], в которой наряду с не устраненными автором недосмотрами и недоработками содержится материал, убедительно свидетельствующий о наличии в индоевропейском ряда инфиксов, не встретила должного понимания и получила излишне критическую оценку. Между тем практика этимологического анализа вскрывает все больше фактов, указывающих на то, что помимо инфикса *-n-* в индоевропейском имелись инфиксы *-m-*, *-r-*, *-l-* и др. Таковы, в частности, соответствия и.-е. **m̥s-* 'бросать, метать, бить, рубить' (ср. др.-инд. *asati* (<**m̥s-*) 'бросает, швыряет') — **m̥s-* 'рубить' (ср. праслав. *měso* 'мясо', лат. *mensa* 'стол', первонач. 'обрубок, колода') — **m̥ms* 'рубить' (ср. др.-инд. *māmsām*, гот. *mimz* 'мясо') — **m̥rs-* 'бросать, топтать' (ср. др.-инд. *mṛṣyate* 'забывает', первонач. 'забрасывает', лит. *miršti* 'забывать', др.-в.-нем. *marsari* 'ступка') — **m̥ls-* 'бить' (ср. укр. диал. *молосувати* 'бить, колотить'); и.-е. **meg-/mog-* 'влечь, тянуть; мочь' — **mrg-/mr̥k-* 'заволакивать, стягивать, смыкать, моргать' — **m̥lg-/m̥lk-* 'заволакивать, тянуть, доить, сосать' и др. Признание множественности индоевропейских

инфиксов является одной из методологических предпосылок интенсификации этимологических исследований на современном этапе.

Обращало на себя внимание то обстоятельство, что наиболее характерные индоевропейские сонанты *i* и *u* в работе Г. Карстина занимают среди инфиксов самое незначительное место. Впоследствии, однако, оказалось, что те примеры, которые приведены у Карстина, представляют собой случаи вторичного включения сонантов *i* и *u* в состав корней, между тем как первоначальные инфиксы *i* и *u* уже на раннем этапе развития индоевропейского праязыка, когда еще отсутствовало фонематическое различие гласных, фонетически слились с сопутствовавшим им в произношении (предшествовавшим и следовавшим за ними) неопределенным гласным призвуком *a* и последовательно превращались в гласные переднего ряда *e* или *i* (в зависимости от размещения ударения) и в гласные заднего ряда *o* или *u* (в зависимости от того же дополнительного фактора). Таким образом, гласные *e*, *i*, *o*, *u* по своему начальному происхождению тоже являются рефлексами древних инфиксов — именно *i* и *u* — и как таковые включаются в один ряд с инфиксами *-r-*, *-l-*, *-m-*, *-n-*. После приобретения возникшими таким образом гласными *e*, *o*, *u*, *i* исключительно важных функций в формировании звуковой структуры слов появилась возможность и вторичного их включения в состав морфем там, где первоначально инфиксов (или просто сонантов) *i* и *u* вовсе не было (это касается в первую очередь гласных *e* и *o*). Понимание гласных *e*, *i*, *o*, *u* как рефлексов былых инфиксов *i* и *u* дает основание рассматривать оставшиеся до сих пор неясными соответствия типа праслав. *gora* ~ др.-инд. *giriḥ* 'гора', лит. *girià* 'лес', праслав. *ognь* 'огонь', лит. *ugnīs* — лат. *ignis* тоже в качестве рефлексов одних и тех же корней с разными инфиксами.

Важное значение для углубления индоевропейской этимологии имеет возможно более полный учет вариантов звуковой структуры корней, охватываемых явлением беглого *s*. Исследования последнего времени показали, что так называемое беглое (или подвижное) *s*, наблюдаемое в известных случаях параллелизма корней с начальным *s-* и без него типа и.-е. **teg-* ~ **steg-* 'покрывать', в действительности представляет собой один из согласных компонентов элементарного двухсогласного корня, причем компонент *s* может не только находиться перед другим согласным компонентом корня или же исчезать из состава корня, но и, оставаясь в составе корня, следовать за другим компонентом. В последнем случае двухсогласный корень может оставаться в своем элементарном, неинфигированном (и, следовательно, невокализированном) составе (например, и.-е. **ks-* 'рубить, скрести') или же включать в свой состав различные инфиксы (например, и.-е. **krs-*, **kls-*, **kjs-* > **kes-/kis-*, **kys-* > **kos-/kus-* и др.). В случае выпадения беглого *s* из состава корня первоначальный двухсогласный состав корня сводится к одному согласному компоненту (**ks-* ~ **sk-* ~ **k*), между тем как следующие за ним согласные компоненты оказываются уже древнейшими распространителями корня (и.-е. **sk-ed-* ~ **k-ed-* 'раскапывать, рассыпать'). Выделение в корнях с беглым *s* таких древнейших распространителей де-

дает возможным сведение многочисленных корней с беглым *s*, рассматриваемых до сих пор раздельно, к небольшому количеству элементарных двухсогласных корней, в которых беглое *s* как один из их согласных компонентов может отсутствовать. В результате приходится иметь дело с возможностью объединения многочисленных семантически более или менее тесно связанных слов различных индоевропейских языков с единственным общим для них корневым согласным в крупные этимологические группировки, как, например, группировка слов с корневым *l*, представляющим один из корней с беглым *s* — и.-е. **ls-* со значением 'ходить, слоняться, лазить; собирать, добывать, убивать; лес' и т.д. К настоящему времени выделено 10 таких элементарных двухсогласных корней, одним из согласных компонентов которых является беглое *s*, в том числе корни **ks-* 'бить, рубить, скрести' и т.д., **ls-* 'прямой, стоячий, стойкий, спокойный, ровный, выставленный, разложенный, сухой, простертый, покрытый' и четыре пары корней-омонимов (или представляющихся омонимами) — **ms-* I 'метать, отвергать, разбивать, растирать' и *ms-* II 'тянуть, трогать'; **ps-* I 'дышать, дуть, веять, рассыпать, сеять' и **ps-* II 'ступать, топтать, следовать, наблюдать, находиться, сидеть, крепкий, быстрый, двигаться, успевать, удаваться'; **us-* I 'хороший, вкусный, свежий, веселый, сильный, целый, здоровый' и **us-* II 'сверлить, крутить, махать, гнуть, вить, кутать, плести, вязать'; **ls-* I 'ходить, искать, собирать' и **ls-* II 'липкий, слизь, скользить' (подробнее см.: [Мельничук, 1984]).

Однако требования к методике этимологических исследований на современном этапе не ограничиваются необходимостью учета специфических закономерностей звукового строения корней, которыми дополняются классические звуковые законы. Не менее существенную роль в повышении эффективности этимологических разработок играет уже проявляющийся в них практически и обосновываемый теоретически (особенно в работах О.Н. Трубачева) динамический подход к семантике сопоставляемых слов, при котором с привлечением данных исторической типологии и фактов, обнаруживаемых в самом исследуемом этимологическом гнезде, учитывается возможность длительной и сложной доисторической эволюции исторически наблюдаемых значений. Такой подход, с одной стороны, исключает упрощенную ориентацию этимолога на прямолинейное семантическое соответствие сопоставляемых слов, ведущую в ряде случаев к необоснованному допущению различных замен и перестановок согласных (как, например, при сопоставлении праслав. *dobrъ* и др.-инд. *bhadrâh* 'счастливый, отрадный', гот. *batiza* 'лучше', н.-в.-нем. *besser*; то же у В. Махека [Machek, 1971], и, с другой стороны, позволяет объединить в одно этимологическое гнездо такие слова с различающимися значениями, как, например, лит. *kâuti* 'бить, рубить' — праслав. *kovati* 'ковать', *kovarъnъ* 'коварный', **kuznъsъ* 'кузнец', **kъznъ* 'козни'.

Может показаться, что высказанные здесь положения открывают простор для проникновения в этимологию индивидуального авторского произвола и субъективизма, подобных тем, которые наблюда-

лись в этой сфере до XIX в. Но это не так. Речь идет не об игнорировании общепринятых требований строгого учета звуковых законов и семантических связей, а только о присоединении к ним новых требований дополнительного учета специфических, преимущественно факультативных, закономерностей звукового строения корней и доисторической эволюции семантики. Никакой прогресс в области этимологии на современном этапе не может быть достигнут без соблюдения основных методических установок, выработанных в сравнительно-историческом языкознании XIX в. Но в целях достижения прогресса этими установками нельзя ограничиваться.

С присоединением к установившейся методике этимологических исследований новых требований характер и задачи этимологических разработок усложняются. В силу факультативности подлежащих учету дополнительных закономерностей, характеризующих структуры корней и развитие семантического плана, получаемые с их учетом результаты имеют поначалу более гипотетический характер, чем классические этимологии, основывающиеся на одних звуковых законах. Однако эта гипотетичность нигде не вступает в противоречие с классическими этимологиями. Новые результаты только дополняют и углубляют классические этимологии, присоединяя к уже установленным этимологическим гнездам вновь установленные гнезда и остававшиеся в этимологической изоляции слова или же объединяя оставшиеся изолированными слова в новые гнезда. От возможных при этом отдельных ошибок предохраняет в первую очередь рассмотрение каждого проводимого сопоставления на фоне всей системы этимологических связей в лексическом составе данной языковой общности. В этом заключается одно из проявлений взаимообусловленности изучения лексической системы праязыка и дополнения этимологического исследования новыми подходами.

РЕКОНСТРУКЦИЯ КАРПАТСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ПОЗДНЕПРАСЛАВЯНСКОГО ЛЕКСИЧЕСКОГО ФОНДА

Работа подобного рода получила возможность осуществления, с одной стороны, благодаря появлению в последние десятилетия большого количества славянских диалектных словарей и разнообразных описаний диалектной лексики, с другой — после значительных успехов славянского языкознания в области этимологии и исторической лексикографии, неизменно возрастающих начиная с 50-х годов. Это выразилось прежде всего в создании к настоящему времени этимологических словарей почти всех славянских языков. В отечественной науке переломным моментом следует считать выход в свет 15 выпусков "Этимологического словаря славянских языков [ЭССЯ] под об-

шей редакцией О.Н. Трубачева и создание под его руководством картотек праславянского лексического фонда 15 славянских языков¹.

В процессе составления картотек и подготовки к публикации ЭССЯ О.Н. Трубачевым был обоснован ряд важнейших для реконструкции праславянского лексического состояния положений:

1. Равноправное, зачастую даже большее, значение лексических данных в кругу проблем диалектного членения праславянского (ср.: [Иллич-Свитыч, Венедиктов, 1960, 117]; относительно членения индоевропейского см.: [Порциг, 1964]).

2. Понятие праславянского диалектизма (resp. локализма) и шире — регионализма на фоне реконструкции праславянского словарного состава в целом, постулируемое посредством выявления изолированных лексем в отдельно взятом славянском языке/диалекте или исключительных (эксклюзивных) изолексов.

3. Определенная, лингвистически обусловленная селективность словообразовательных моделей.

4. Автономность праславянских состояний лексики славянских языков/диалектов и соответственно допущение диалектной дробности праславянского.

5. Признание конвергентных процессов в генезисе современных славянских языков столь же актуальными, как и дивергентных.

6. Особое значение ареальных аспектов для констатации архаизмов и инноваций при реконструкции праславянских лексико-семантических диалектизмов (см., например: [Трубачев, 1963, 154 и след.; 1963, 13 и след.; 1963, 165 и след.; 1974]).

Приведенные положения имеют самое непосредственное отношение к нашей теме, касающейся довольно четко очерченного географически ареала, а именно зоны Карпат. Первостепенное значение Карпат в судьбах славянского мира, его глотто- и этногенетической истории понималось всеми без исключения славистами, начиная с Й. Добровского и П. Шафарика, при практически полном согласии в том, что территория Карпат *stricto sensu* является вторичной областью расселения славянских племен, колонизовавших ее в ходе миграций в позднепраславянский период. При этом, где бы ни локализовали ученые прародину славян: к северу от Карпат (бассейн Вислы и Одера), к северо-востоку (историческая Галиция — Волинь), к востоку (бассейн Припяти и Среднего Поднепровья) или, наконец, в Среднем Подунавье (обзор см.: [Бирнбаум, 1987, 328 и след.]), — все пути расселения предков западных, южных и части восточных славян пролегали либо через Карпаты, либо в непосредственной близости от них. Таким образом, Карпаты могут служить не только теоретической точкой отсчета, но и реальным географическим пространством, в пределах которого разворачивались специфические процессы славянского этно- и глоттогенеза эпохи распада праславянского единства (ср.: [Трубачев, 1973]).

Верхней границей этого периода, весьма условно именуемого поздне-

¹ Ср. аналогичный труд, издаваемый в Польше, но с совершенно иной методикой реализации: *Słownik prasłowiański*. Kraków, 1974—. Т. 1—.

праславянским, следует считать хронологические рамки славянизации Балкан и формирования в ходе ее южнославянских этносов и языков. Данный процесс нашел сравнительно достоверное засвидетельствование в ранневизантийских источниках, начиная с Прокопия Кесарийского, чего не наблюдается по другим группам славян. Бесспорная дата первого исторического упоминания славян под своим этническим самоназванием (в греческой транскрипции Σκλαβηνοί) — 527 г. н.э., реконструируемая на основе известного сообщения Прокопия в "Тайной истории" (Hist. arc. XVIII, 20, специально см.: [Гиндин, 1988, 174 и след.]), может служить отправным пунктом в уточнении хронологии членения позднепраславянской диалектной общности в абсолютном исчислении. Более того, у Прокопия в "Готской войне" имеется еще один совершенно замечательный пассаж (В., VI, 15, 1—2), позволяющий заключить, что славяне в конце V — первом десятилетии VI в. уже населяли Полабье, а также часть территории современной Словакии, приблизительно в пространстве между Моравой и Гроном. В указанном пассаже говорится о части герулов, которые, будучи побеждены лангобардами, "осели где-то на самых окраинах обитаемой земли" (о. Фуле — совр. Скандинавия), причем в начале пути на север, видимо с территории словацкого левобережья Дуная, «они прошли поочередно (букв. "сменили" — ἡμεψαν) все племена (или области) славян» (подробнее см.: Баришић, 1953, 25)]. Надо полагать, в данном районе Карпат, включая верховья бассейна Вислы, Сана и сопредельные районы современной юго-западной Украины (Закарпатье и проч.), происходили многообразные конвергентные полидиалектные позднепраславянские процессы, ярко маркированным наследием которых явились двусторонние карпатоукраино-южнославянские лексические (главным образом лексико-словообразовательные и лексико-семантические) изоглоссы, необъяснимые в рамках синхронных лингвогеографических исследований, ориентированных на современное ареальное распределение изоглоссного материала данных диалектов.

Параллельно и независимо от Прокопия очерченный ареал распространения славян в рассматриваемый период, во всяком случае в отношении склавинов, фиксируемых греко-латинскими источниками, засвидетельствован в "Гетике" Иордана (сер. VI в.), сообщающего: "Славяне (*Sclaveni*) пребывают (*commorantur*) от города Новьетуна и озера, которое называется Мурсианским, вплоть до Данастра (совр. Днестр. — Л.Г., И.К.) и на север до Висклы (совр. Висла — Л.Г., И.К.): вместо городов они живут в болотах и лесах (*hi paludes silvasque pro civitatibus habent*). Анты же, которые суть самые сильные из них, там, где Понтийское море изгибается, простираются от Данастра вплоть до Данапра (совр. Днепр. — Л.Г., И.К.); эти реки отстоят друг от друга на много переходов" (Iord. Get., 35; перевод наш. — Л.Г.). Обращает на себя внимание употребление глагола обитания *com-moror* (verb. depon.), букв. 'замедлять (движение и проч.), задерживаться' от *moror* 'медлить'. Оксфордский словарь латинского языка среди близких значений дает *sojourn* '(временно) жить, проживать' и *tarry* 'медлить, ждать, проживать' [Lewis, Short, 382—383]. На фоне приме-

нения к гепидам (Iord. Get., 33) глагола (*gens*) *residet* 'сидит, находится' и о племени суэханс — (*hi*) *vivunt* 'живут' (там же, 21), о миксах, еваграх, отингах — *inhabitant* 'обитают' (там же) и т.п. употребление Иорданом формы *commorantur* в пассаже о славянах данного региона очень напоминает положение с медиальным перфектом ἵδρυνται, использованным трижды у Прокопия по отношению фактически к тем же славянам (Σκλαβηνοί), 'обретаются, пребывают, сидят и под.', и в качестве синонима к нему — медиального презенса νέμονται 'пребывают (букв. 'пасутся') и проч.'. Все это включается в общее представление византийского историка об этих племенах как о народе нестабильного образа жизни, постоянно находящемся в состоянии экспансии, выраженном в готовности к переходу через Истр и нападению на империю (специально см.: [Гиндин, 1988]). В свете сказанного представляется, что появление *commorantur* в рассмотренном пассаже Иордана нельзя признать случайным и отнести за счет стремления автора к синонимическому варьированию. Что же касается *civitates*, то, будучи противопоставленным *paludes* и *silvae* в цитированном оригинале, оно, несомненно, предполагает значение 'город' как социально-политическая единица римско-византийской урбанистической, по преимуществу, культуры. Связь данной семантики термина "*civitas*" с условиями развития римской цивилизации наглядно отражена в развитии его значений 'гражданство, гражданское право, гражданское общество и проч.' — 'город' (начиная с Энния) и словопроизводности от *civis* 'гражданин' в отличие от *urbs* 'город вообще' и *oppidum* первоначально 'огражденное, укрепленное место' [см.: Walde, Hofmann I, 224 s.v. *civis*; II, 834, 214]. Все рассмотренное выражение в целом, вызвавшее большую и противоречивую литературу, с филологической точки зрения выглядит броской метафорой, столь свойственной вычурному стилю Иордана.

Не углубляясь в подробности локализации Мурсианского озера и города Novietunens (согласно наиболее устоявшемуся мнению, антич. Noviodunum — совр. Исакача, в нижнем течении Дуная, см. комментарий Т. Моммзена в Iord. Get., 163, с готской адаптацией начального согласного второго компонента — кельт. *-dunum* в *-tunum* по германскому передвижению согласных, ср. [Свод]), отметим неизбежную схематичность географических свидетельств Иордана, заимствованных им у Кассиодора (приблизительно конец первой трети VI в.). Важно другое. Необходимо указать, что интересующий нас в ареально-этимологическом плане регион, представляющий неотъемлемую часть территории расселения славян в позднепраславянскую эпоху и постулируемый на основе конкретных историко-филологических источников, поразительным образом совпадает с ареалом распространения так называемой пражско-корчакской культуры, представленной главным образом хорошо сохранившейся керамикой (см. специально: [Русанова, 1976]; о соответствии исторических сведений о славянах Иордана с указанными археологическими данными см. [там же, 197]). Наиболее ранние памятники этой культуры (кон V—VI в.) расположены на компактной территории, включающей р. Оны Польши по среднему и верхнему течению Вислы, а также в долине Пру-

та и Днестра с примыкающими областями на востоке и северо-востоке (Полесье, Волынь, Буковина, правобережье Среднего Днестра), где идентичные памятники датируются VI в. [Русанова, 1976, 199, карта — рис. 75, 27 и т.д.; ср.: Седов, 1979, 104 и след.]. Недавно аналогичные материалы, относимые к началу V в., обнаружены в украинском Прикарпатье (Кодын — Буковина, Зимно — Волынь) [Русанова, Тимошук, 1984, 23—28].

Таким образом, очерченный ареал пражской культуры указанного периода охватывает северные области собственно Карпат, украинское Закарпатье и Прикарпатье и несколько позже включенные районы северо-западного Полесья (о славянах как о "пришлом" населении в западном Полесье VI—VII вв. см.: [Седов, 1983, 23]). В середине VI в. памятники этого типа появляются в Чехословакии, затем южнее Среднего Дуная и в нижнем Подунавье, с конца же VI в. и в VII в. — на Эльбе, Заале и польском Поморье [Русанова, 1976, 199—200], т.е. охватывают всю Польшу и восточную часть Германии.

Совершенно независимо Ю. Удольф, тщательно проанализировав обширный, сугубо лингвистический, материал водных географических апеллятивов и образованных на их базе гидронимов, пришел к выводу о большой вероятности локализации первоначального компактного района обитания славян в пределах северного склона Карпат ("ursprüngliches Kerngebiet der slavischen Siedlung war mit grosser Wahrscheinlichkeit der Nordhang der Karpaten"). По его мнению, "уже рано были заселены славянами также собственно Карпаты, южные склоны Карпат (прежде всего карпатоукраинские) и северная часть средней Словакии". Датируется этот праславянский период временем до 500 г. н.э.¹ [Udolph, 1979₁, 620—623; 1979₂, 19 и след.; также: Бирнбаум, 1987, 334, 330; ср.: Трубачев, 1982].

Так непреднамеренным образом перекрестились данные трех основных в этногенетической проблематике дисциплин — истории, археологии и лингвистики — при определении древнего славянского ареала (остережемся называть его в духе Ю. Удольфа "Urheimat der Slaven"), послужившего в любом случае плацдармом для транскарпатской миграции и последующей славянизации Балкан, определенно сопровождавшимися передвижениями славянских этнических групп в северо-западном и северо-восточном направлении (см. выше о хронологии пражско-корчакской культуры).

В аспекте очерченных в названии статьи задач важно отметить, что интересующие нас лексические факты своей географической конфигурацией и распределением по славянским диалектам полностью вписываются в указанный ареал расселения славян в позднепраславянский период. Однако, прежде чем перейти к изложению материала, необходимо сделать несколько предварительных замечаний.

Помещаемый ниже лексический материал представляет собой фраг-

¹В переводе обзорной книги Х. Бирнбаума и Т. Мерила мысль Ю. Удольфа о временных границах пребывания славян в постулируемом им районе "прародины" до 500-го года передана неточно, и ему приписана датировка "приблизительно 500 годом н.э." (разрядка наша. — Л.Г., И.К.) [Бирнбаум, 1987, 334; ср.: Birnbaum, Merrill, 1983, 77: "dating the settlement in that original homeland to before 500 AD"].

мент словника 1-го тома "Карпатского ареально-этимологического словаря" далее — (КАЭС)², трактующего карпатский ареальный компонент позднепраславянского лексического фонда; 2-й том составит так называемая "миграционная" лексика, отражающая иной тип лексических взаимосвязей. Первоначально замысел словаря возник в качестве наиболее эффективной формы диахронической интерпретации данных "Общекарпатского диалектологического атласа", создаваемого международным коллективом во главе с С.Б. Бернштейном (из последних работ см.: [Бернштейн, Клепикова, 1978, 27—47: ОКДА. Вопросник, 19—21; ОКДА, 1988; 1989]). Однако некоторые концептуальные и содержательные различия ОКДА и предшествовавшего ему "Карпатского диалектологического атласа" (КДА), отчетливо проявившиеся в их вопросниках, вынудили нас в целях более полного конституирования корпуса региональных карпато-южнославянских изоглосс позднепраславянской эпохи (до периода завершения процесса славянизации Балкан и образования южнославянских этносов и языков) со всей серьезностью обратиться к КДА, прежде всего к его вопроснику, поскольку он по большей части закономерно ориентирован на выявление карпатоукраинско-южнославянских изоглосс, об особой маркированности которых в кругу карпатской проблематики мы уже писали выше. Надо сказать, что стержневой характер данных лексических тождеств для этногенеза южных славян и крайней юго-западной части восточных славян был отмечен давно (см. критическое изложение мнений: [Бернштейн, 1967, 6—23]; ср.: [Нимчук, 1988]).

На IV Международном съезде славистов (Москва, 1958 г.) в связи с проблемами прародин и транскарпатской миграции славян также затрагивалась проблема установления пучков карпато-южнославянских изоглосс, включая материал северно- и центральнокарпатских диалектов (южнопольских, словацких) (см.: [Иллич-Свитыч, 1959]). Более конкретное высказывание по этому поводу содержится в рецензии В.М. Иллич-Свитыча и Г.К. Венедиктова на "Лингвистический атлас Закарпатской области" [Дзендзелівський, 1958]. Рецензенты отмечают «значительное число слов, имеющих закарпатско-южнославянский ареал: *véremnia* 'солнечная погода', *máčka* 'кошка', *ná-ziti* 'спешить', *igráti* 'танцевать'» и др., которые могут быть квалифицированы как репрезентанты закарпатско-южнославянских связей, не только способных "дать многое для решения вопроса о генезисе закарпатских украинских говоров, но и... пролить свет на проблему переселения южных славян за Карпаты" [Иллич-Свитыч, Венедиктов, 1960, 118]; относительно влияния I части Атласа И.А. Дзендзелевского на решение о целесообразности создания КД. см.: [Бернштейн, 1973, 28].

Первая серьезная публикация на тему карпатской миграции славян также принадлежит перу В.М. Иллич-Свитыча [Иллич-Свитыч,

² Данный словарь составляется в Институте славяноведения и балканистики АН СССР коллективом авторов: Л.А. Гиндин (руководитель работы), И.А. Калужская, М.А. Осипова, Т.Ф. Семенова.

1960]. Выполненная в рамках этимологической методики с привлечением достаточного для того времени диалектного материала, эта и сейчас актуальная работа, как представляется, стимулировала в значительной мере все последующее развитие современной лингвистической карпатистики.

Основополагающей для всей концепции КДА и частично ОКДА стала мысль В.М. Иллич-Свитыча о том, что "пребывание славян в горных районах Карпат" должно было сопровождаться "значительными сдвигами в лексике", которые "можно проследить на материале южнославянских языков, являющихся продолжением диалектов славян, пересекших Карпаты", и что "зачатки таких сдвигов следует искать у северных (восточных и западных) славян, заселяющих сейчас Карпаты от верховьев Серета до Дуная у Братиславы" [Иллич-Свитыч, 1960, 222]. Среди примеров, подтверждающих эту идею, следует прежде всего привести такое опорное тождество в теории В.М. Иллича-Свитыча, как **polnina*, являющее яркий пример пространственного распределения значений по географически крайним точкам: в.-луж. *plonina* 'равнина, ровная поверхность; лужайка в лесу' ~ болг. *планина* 'гора', с.-хорв. *planina* 'гора, горный массив', диал. 'гора, поросшая лесом; горный лес', с типичной позицией нейтрализации на карпатской территории: карп.-укр. *полоніна* 'горная равнина, пастбище на вершинах гор', чеш. диал. *planina* 'равнина, обычно на возвышенности, непокрытая лесом, голая', 'платогорье', словц. *planina* 'непокрытая лесом горная равнина', 'платогорье' [Иллич-Свитыч, 1960, 223—225]. Не менее существенно и приводимое В.М. Иллич-Свитычем [там же, 228] слав. **sqiěska*, видимо перешедшее в разряд географических терминов "в период вступления славян в западные районы Северных Карпат": чеш. *soutěska* 'узкое горное ущелье', словен. *sutěska* 'то же', серб. *sutjeska* 'то же' при укр. *сумісок* 'очень узкая, тесная улица; тесный проход'.

В 1961 г. на Первом координационном совещании по актуальным проблемам славяноведения С.Б. Бернштейном был поднят вопрос о работе "над областным западноукраинским атласом", имеющим своей целью полностью выявить и установить границы "явлений, характерных для южнославянских языков" [Бернштейн, 1961, 184 и след.] (о постановке проблемы КДА в 1960 г. в связи с работой в Институте славяноведения АН СССР по исторической диалектологии болгарского языка см.: [Бернштейн, 1967, 23]). Было также отмечено, что создание подобного атласа приблизит решение дальнейшей задачи — подготовку "так называемого карпатского лингвистического атласа, который по своим задачам будет приближаться к средиземноморскому" [Бернштейн, 1961, 185]. О КДА как части "будущего полного Карпатского диалектного атласа, который охватит не только юго-западные украинские говоры, но и южнопольские, восточнославянские и южноморавские говоры чешского языка", шла речь на специальном совещании по КДА в Ужгороде летом 1962 г. [Иллич-Свитыч, 1962, 148]. На этом же совещании обсуждались два проекта Вопросника-программы КДА; один из них подготовлен В.М. Иллич-Свитычем, им же в качестве основы "была составлена обширная карто-

тека", второй — И.А. Дзендзелевским и П.П. Чучкой [Бернштейн, 1967, 25] (к сожалению, уникальная картотека Иллича-Свитыча, видимо, безвозвратно утрачена; описи его архива не существует). Сейчас, при работе над славянской частью словника "Карпатского ареально-этимологического словаря", опирающегося в основном на вопросник КДА, все отчетливее становятся масштабы конкретного вклада этого замечательного слависта в карпатистику.

В 1963 г. С.Б. Бернштейн сформулировал понятие "карпатизма" [Бернштейн, 1963, 79 и след.], позднее несколько расширив и модифицировав его [Бернштейн, 1965, 35; 1967, 16; 1972, 10; 1985, 81; ср.: Клепикова, 1985, 74 и след.], а в 1967 г. в Предисловии к КДА [Бернштейн, 1967, 15] впервые ввел термин "карпатское языкознание", в дальнейшем обосновав карпатистику как особую лингвистическую дисциплину [Бернштейн, 1973, 3 и след.; 1985, 79 и след.]. Специфичность карпатского языкознания, так же как средиземноморского, кавказского, балканского и других подобных отраслей языковедения, построенных по территориальному (ареальному) принципу, заключается прежде всего в том, что предметом его исследования является лингвистическая общность, сложившаяся в результате перекрестных разнохронологических взаимодействий родственных и неродственных языков. В контактную зону карпатского лингвистического пространства, неомогенного генетически и системно, на синхронном уровне входят: диалекты близкородственных славянских языков (польского, чешского, словацкого, украинского), отдаленно родственных языков на уровне индоевропейских подсемей (восточнороманские) и, наконец, диалекты венгерского языка, принадлежащего к иной языковой семье. Исторически в карпатскую область включаются, как писалось выше, и южнославянские языки, история которых связана с более или менее длительным пребыванием предков южных славян в районе Карпат и близлежащих территорий. Сюда же могут быть приурочены так называемые дакославянский и паннонославянский диалекты, ассимилированные восточнороманской и венгерской языковой средой. Здесь уместно заметить, что более ранние языковые компоненты карпатского ареала (фрако-дакийский, кельтский, германский, иранский) не оказали существенного влияния на складывание карпатской общности. Все перечисленные языки и диалекты появились в карпатской контактной зоне не одновременно, пройдя совершенно особый путь развития в процессе своего мезиса и вступив в перекрестные отношения на различных хронологических срезах. При этом необходимо подчеркнуть, что, несмотря на всю гетерогенность лексических единиц, образующих многомерное карпатское лингвистическое пространство, карпатистика в целом имеет, по нашему мнению, четко выраженную славистическую направленность, так как все разнообразие интерференционных процессов в этой зоне исследуется прежде всего по отношению к славянским языкам и диалектам, будь то взаимодействие славянских языков и диалектов между собой (от позднеславянского состояния до современности) или их взаимодействие с неславянскими языками. Вместе с тем отметим, что карпатская ареальная общность приобрела относительно законченную фор-

му довольно поздно (по сравнению с близкой ей территориально балканской), в известной мере в результате валашской колонизации, вследствие чего образовалась сеть изоглосс, возникших по миграционному принципу *Wörter und Sachen* в связи с распространением в указанном районе наиболее эффективных для того времени и потому доминирующих способов и частных приемов производственной деятельности.

Исходя из вышеизложенного, представляется возможным предложить следующие хронологические и конститутивные ориентиры становления карпатской языковой общности на фоне исторических и археологических свидетельств: 1) позднепраславянская общность в пределах Северных Карпат и Прикарпатья в период, предшествующий транскарпатской миграции славян, — до 500 г. н.э.; 2) заселение славянами Карпат и ранние контакты славянского и восточнороманского населения в левобережье Нижнего Дуная (с начала VI в. н.э.); 3) начало процесса славянизации Балкан (первая четверть VI в.); 4) приход венгров в Паннонскую низменность, разорвавший сохранявшиеся здесь культурные и языковые связи северно- и южнославянских этносов и диалектов; необходимо также учитывать, что Венгерская котловина была в течение IV по третью четверть V в. во владении гуннов, а затем с начала VI по рубеж VIII—IX вв. принадлежала аварам; 5) влияние болгарской государственности, языка и культуры в Карпато-Дунайских землях в разные периоды, начиная с IX в.; 6) валашская колонизация (с XIII в.); 7) миграции балканского населения в левобережье Дуная после османского завоевания.

Переходя к характеристике приводимого ниже лексического материала, сразу оговоримся, что по мере продвижения работы словник КАЭС несомненно будет пополняться (возможно и обратное — исключение ряда позиций) за счет привлечения новых источников, в первую очередь всех выпусков ЭССЯ и ПС. Однако основные контуры реконструируемого в словаре фрагмента позднепраславянского лексического фонда в карпатском ареале уже сейчас проступают довольно отчетливо. Впечатляет количество эксклюзивных карпатоукраинско-южнославянских изолекс — более 150 из общего состава словника около 400. Разумеется не исключено, что среди данных изоглосс могут оказаться параллельные образования, особенно в сфере словопроизводства, хотя и в этом случае не следует забывать о возможности сохранения селективных потенций морфем, восходящих ко времени тесного контактирования диалектов. Следует также учитывать, что в географически обособленном регионе, подобном карпатскому, сохранялись архаизмы, являющиеся наследием докарпатской эпохи праславянского, доказательством чего служит наличие тождественных лексем, встречающихся в виде островных периферических вкраплений далеко за пределами Карпат (Полесье, севернорусские говоры). В то же время для какой-то части восточнославянских фактов не исключено объяснение вторичным движением из области Карпат представителей этих племенных групп, втянутых в этногенетический процесс консолидации восточных славян. По мере работы над словарем высказанные соображения, несомненно, будут уточняться.

При составлении славянской части словника КАЭС мы руководствовались следующими критериями:

1. Эксклюзивность изоглоссы, ограниченной на севернославянской территории карпатославянскими диалектами, например: **dosъta*: карп.-укр. *dósta* 'много, хватит, достаточно' ~ болг. *dósta* 'то же', макед. *доста*, с.-хорв. *dǎsta*, словен. диал. *dósta* (на фоне **do syti*, **do syta*, **do sŭti*, имеющих иные ареалы распространения [ЭССЯ, 5, 86—87]); **žetina*: карп.-укр. *четина* 'хвоя' (бойк., сев.-вост.-закарп.), 'щетина', 'жесткая трава' (гуцул.), слвц. *žetina*, *žecina* 'хвоя', чеш. *žetina* 'хвоя, иголка', диал. *četuна* 'то же', польск. диал. *czacina* 'хвоя' ~ болг. *чѣтина* 'щетина', макед. *четина* 'щетина', с.-хорв. *četina* 'щетина', 'хвоя, иголка' (вариант к **žčetina* [ЭССЯ, 4, 93]); **žežьky(jь)*: карп.-укр. *жі́жкий* 'горячий, жаркий', *же́жко* 'жарко' ~ зап.-болг. *же́жск*, *же́жсок*, 'то же'; **kvarь*: карп.-укр. *квар* 'болезнь', 'беспокойство', 'тяжелая работа', слвц. *kvár* 'порча', чеш. *kvářit* 'мучить, утомлять' ~ болг. *квар* 'порча, болезнь', с.-хорв. *kvār* 'порча, ущерб', словен. *kvār* 'вред, недостаток', 'порок, изъян'.

2. Региональность изоглоссы, имеющей локальные продолжения к северу и северо-востоку от Карпат, например: **brъva/*brъvъ*: карп.-укр. *бѣрва* 'перекладина, мостик', *бер* 'кладка, мостик через ручей', ст.-чеш. *břev* 'мостик', польск. *bierzwa* 'бревно' ~ болг. диал. *брьв* 'дерево, положенное поперек реки или потока', *брьвь* 'мостик', с.-хорв. *бр̕ва* 'мостик, перекладина (через воду)', *бр̕в* 'мостик, перекладина', словен. *břv* 'то же'; ср. полесск. *бѣрва* 'кладка', др.-рус. (новг.) *брьвь* 'плот, береговая плотина', рус. диал. *бѣрва* 'лава, кладка, мостки'; **роžьсть*: карп.-укр. *пóшесть*, *пóшість* 'эпидемия, болезнь' ~ с.-хорв. *пdшаст* 'заразная болезнь; мор', ср. полесск. *пóшэс'ц* 'напасть', рус. (зап., пск.) *пóшесть* 'поветрие, повальная болезнь'.

3. Наличие определенного семантического сдвига (или, наоборот, консервация семантического архаизма) в южнославянских и карпатославянских языках и диалектах по отношению к другим славянским языкам, прежде всего в терминологии ландшафта, а также в других группах лексики: **bъrdo*: карп.-укр. *бѣрдо* 'бердо', 'пропасть', диал. 'скалистая гора, скала', 'крутой склон горы' и под., слвц. *brdo* 'бердо', устар. 'скалистый холм, утес', чеш. *brdo* 'бердо', диал. 'холм' ~ болг. *бърдо* 'склон горы, холм, возвышенный берег', 'бердо', макед. *брдо* 'холм, возвышенность', 'бердо', с.-хорв. *бр̕до* 'гора', 'бердо', 'поле', словен. *břdo* 'холм, возвышенность', 'бердо', ср. н.-луж. *bardo* 'бердо, трепало', полаб. *b'ordū* 'льномьялка, трепало', словин. *bjārdō* 'дюймовые доски в лодке', рус. *бѣрдо* 'часть ткацкого станка', блр. *бѣрда* 'бердо' [Иллич-Свитыч, 1960, 244 и след.; ср. ЭССЯ, 3, 164 и след.]; **dělъ*: карп.-укр. *dīl* 'горная цепь, хребет', укр. 'часть, доля', по-л. *dział* 'часть, раздел', диал. 'взгорье', 'гора' (Подгалье), 'склон горы над ручьем; место для выгона' (Польские Татры) ~ болг. *дѣл* 'часть, доля', 'гора', с.-хорв. *dŭjel* 'часть', 'гора', *děo*, *děl* 'гора, вершина', 'откос, крутизна', 'часть; раздел, дележ', ср. чеш. *díl* 'часть, доля', слвц. *díel* 'то же', н.-луж. *žěl* 'часть, доля, пай', словин. *žěl* 'часть, доля', рус. (сев.) *дел* 'раздел, дележ' [Иллич-Свитыч, 1960, 225 и след.; ЭССЯ, 5, 8—9], ср. также рум. *deal* 'гора, холм', **rodъ*: карп.-укр. *nīd* 'потолок',

'чердак', 'пол' [КДА, № 131, 132], чеш. *přída* 'земля', 'чердак', слвц. *rdžd* 'чердак' ~ болг. *под* 'пол', 'потолок', 'ларь', с.-хорв. *пѡд* 'ярус, настил', ср. рус. *под* 'пол, низ, дно', блр. *под* 'нижняя часть, подножие горы' и проч. [см.: Фасмер, III, 295 и след.].

Ниже приводится базовый фрагмент карпатского регионального корпуса позднепраславянского лексического фонда, подлежащего дальнейшей проработке в КАЭС³:

***babĩnъ, -a, -o** — субст. прилаг. 'ласковое обращение к ребенку': карп.-укр. *бáбин, -a, -o* ~ болг. *бáбината (-ото)*, макед. *бабино*, с.-хорв. *бабино*; ср. полесск. *бáбын (-a)* (аналогично **tatĩnъ, -a, -o* и проч.).

***bag(ъ)гъ(ь)** 'темно-красный, бурый': карп.-укр. *багрїй* (сюда же *бáгря, багрўля*) ~ ст.-слав. БАГЪРЪ, болг. *бáгър*, с.-хорв. *бáгар*, словен. *bdger*.

***bara/*bagъ** 'речка; лужа; болото; обрыв': укр. *бар* (также *барїло, барўля*), чеш. диал. *bara*, слвц. диал. *bara*, польск. *barzyna* ~ болг. *бáра*, с.-хорв. *бáра*, словен. *bàra*; ср. рус. диал. *бар*.

***bavъnъ(ь)** в знач. 'медлительный': укр. *бáвний* (также *забáвний*) ~ болг. *бáвен*, макед. *бавен*.

***bergul'a/*bergulica** 'береговая ласточка': карп.-укр. *берегўля, берегулиця, берегўлька*, чеш. *břehul'a*, слвц. *brehul'a* ~ с.-хорв. *брёгуља, брегўлица*, словен. *bregŭlja*.

***bergъ** в знач. 'гора, холм': карп.-укр. *бéрег, бéриг*, чеш. *břech*, слвц. *breh*, в.-луж. *brjóh*, н.-луж. *broh* ~ болг. *бряг*, макед. *брег*, с.-хорв. *брѣг*, словен. *brëg*.

***bezoč(ĭ)ivъ(ь), *bezočitъ(ь), *bezočanъ(ь)** в знач. 'бесстыжий': карп.-укр. *безочлївий*, чеш. мор. *bezočivŭj*, слвц. *bezočivŭj, bezočaty* ~ ст.-слав. БЕЗОЧИВЪ, БЕЗОЧИТЪ, болг. *безóчлив, безóчан*, с.-хорв. *бèзочан*, словен. *brezóčen*.

***bēsъ** в знач. 'ярость, злоба; бешенство (болезнь)': карп.-укр. *bіс*, также *збіс*, чеш. *běs*, слвц. *bes* ~ болг. *бяс*, макед. *бес*, с.-хорв. *бѣс*.

***bogъ mę (< *mene)** 'ей-богу': укр. *бігмé, богмé* ~ макед. *богме*, с.-хорв. *бѡгме, бѡме*, словен. *bógme*; ср. полесск. *б'ўгма*; также укр. *(за)бігмáтися, богмítися* ~ с.-хорв. *бѡгмати се*.

***bogъ zna (< *znajetъ)** 'неизвестно': укр. *бозна*, слвц. *bohzná* ~ болг. *бѡзна*, с.-хорв. *бѡгзнā, бозна*.

***bol'е** в знач. 'лучше, хорошо': карп.-укр. *бѡле* ~ болг. *бѡле*, с.-хорв. *бѡље*, словен. *bólje*.

***borikati (se), *boričъkati (se)** 'бороться, бодаться': укр. диал. *боріка́-ти(ся), борі́кати* ~ болг. *борі́чкам (се)*; ср. (с иным гласным основы) рус. диал. *борюка́ться* (курск.), *боруха́ться*.

***bogъ** в знач. 'сосна': чеш. диал. *bor*, слвц. *bor*, в.-луж. *bór*, н.-луж. *bor* ~ болг. *бор*, макед. *бор*, с.-хорв. *бѡр*, словен. *bôr*.

***bqba** в знач. 'насекомое, червь': карп.-укр. *бўба* ~ болг. *бўба*, макед. *буба*, с.-хорв. *бўба*.

³Список подготовлен по материалам картотеки КАЭС.

***bq̌baḡ** 'жук': карп.-укр. *бумбáр, бомбáр* ~ болг. *бѹмбар, брѹмбáр*, с.-хорв. *бѹмбар*; ср. рус. (сев.) *бубáрка*.

***brīḡ** 'бритва': карп.-укр. *брич*, слвц. *brīḡ* ~ болг. *брич*, макед. *брич*, с.-хорв. *брѹч*; ср. рум. *brici*.

***břgv̌y̌/*břgva** 'мостик, кладка': карп.-укр. *бир'* (род. п. *bírvi*), *бер'* (род. п. *bérvi*), *бérва*, ст.-чеш. *břev* (род. п. *břvi*), польск. *bierzwa* ~ болг. *брѣв*, с.-хорв. *брѣ, брѣва*, словен. *břv*; ср. рус. диал. (сев.) *бервá*.

***buc(ь)ma(s)ť(jь)** 'толстый, откормленный': карп.-укр. *буцмáтий* ~ с.-хорв. *бѹцмаст*; ср. польск. *buclaty*, слвц. *buclaty*.

***buriti se** в знач. 'сердиться, волноваться': карп.-укр. *бѹритися*, слвц. *burit'se* ~ болг. *бѹри се*, с.-хорв. *бѹрити се*.

***břgǩ** в знач. 'усы, бакенбарды': карп.-укр. *бóрки* ~ болг. *бѣрк*, с.-хорв. *брк*, словен. *brk*, ср. чеш. *brk, brko*, слвц. *brko*, польск. *bark*, рус. диал. *борк* (зап.)

***břdo** в знач. 'склон, гора': карп.-укр. *бérдо*, чеш. *brdo*, слвц. *břdo* ~ болг. *бѣрдо*, макед. *брдо*, с.-хорв. *бр̌до*, словен. *břdo*.

***břloǧ** в знач. 'мусор, грязь': укр. *барл̌г, берл̌г*, слвц. *brloh*, в.-луж. *borlo*, н.-луж. *barlog*, польск. *barłóg*, словин. *barloug* ~ болг. *бѣрлѡг, бѣрлѡк*, с.-хорв. *брлог*.

***čēḡka** 'цедилка для молока': карп.-укр. *цідка*, чеш. *catka* ~ болг. *цēдка, цēтка, цáтка*, с.-хорв. *цēтка*.

***čēlo** в знач. 'действительно, в самом деле': карп.-укр. *цїле* ~ болг. *цяло*.

***čēriti (se)** 'скалить зубы': карп.-укр. *уцїряти(ся)*, чеш. *ceřiti (se)*, слвц. *cerit' (sa)* ~ болг. *цēрим се*, макед. *цери се*, с.-хорв. *цēрити (se)*.

***cucati** 'качать (колыбель, ребенка)': карп.-укр. *цуцати* ~ с.-хорв. *цѹцати*.

***cv̌rǧč̌ǩ** 'сверчок': карп.-укр. *цвїрчѡк*, чеш. *cvrček*, в.-луж. *cyřčak* ~ болг. *цвѣрчѣк*, с.-хорв. *цвѣрчак*.

***čaď/*čadǰ/*čadja** в знач. 'сажа': карп.-укр. *чад* (ср. н.-луж. *caze*, полаб. *cod*) ~ с.-хорв. *ча̌ђ, чā̌ђ*.

***čel'aď** в знач. 'семья', 'женщины', 'молодежь (на свадьбе)': карп.-укр. *чēлядь*, чеш. *čeled'*, слвц. *čel'ad'* ~ болг. *чēляд, чēлед*, с.-хорв. *чēљāд*; ср. рус. (костр., новг.) *челядь* 'большая семья'.

***čeǧř** в знач. 'черепок': карп.-укр. *чéрен, чег̌* ~ *чѣр, чѣѣр*, слвц. *čeǧř*, польск. *strzop, trzop*, в.-луж. *črjop*, н.-луж. *čřop* ~ болг. *чéрен*, макед. *црен*, с.-хорв. *црѣн*.

***četina** 'шестина': карп.-укр. *чатїна*, чеш. *četina, četyna*, слвц. *četina, čečina*, польск. диал. *czacina* ~ болг. *чēтина*, макед. *четина*, с.-хорв. *чēтина*.

***čim̌** 'как только': карп.-укр. *чим* ~ с.-хорв. *чїм*.

***čitav̌(jь)/čiť(jь)** 'крепкий, сильный, целый и проч.': карп.-укр. *чїтавий* ~ болг. *чїтав*, макед. *читав*, с.-хорв. *чїтав*; ср. с.-хорв. *чїтї*, словен. *čiti*, рус. (пск., калуж.) *чїтый* 'трезвый', блр. *чїты*.

***čičati** 'сидеть тихо, сидеть на корточках': карп.-укр. *чѣчати*, чеш. *čičetí*, слвц. *čičati* ~ болг. *чѹча*, макед. *чуци*, с.-хорв. *чѹчати*, словен. *čičati*.

***čudo** нареч. 'много': карп.-укр. *чѹдо* ~ с.-хорв. *чѹдо, чїда*, словен. *čudo*.

*čъrxl'a 'вырубка': карп.-укр. топон. Черхля, Чершля, слвц. črchl'a, топон. Čerxl'a, Čerxl'e, Črxl'a ~ с.-хорв. топон. Crhla; ср. польск. диал. czerchlic, карп.-укр. черхлѣти.

*čъrtežъ 'очищенное от леса место': карп.-укр. чертѣж, чертѣж, слвц. čerti'až ~ с.-хорв. топон. Čftež; ср. рус. (соликамск.) чертѣж 'место вырубки леса'.

*dělъ в знач. 'холм, гора': карп.-укр. діл, ю.-польск. dział ~ болг. дял, с.-хорв. дѣл; ср. рум. deal.

*dětinitī (se) 'ребячиться': карп.-укр. дитинитися ~ болг. детиня се, с.-хорв. дѣтињити се; ср. полесск. дытынытыс'.

*dir'a 'след': карп.-укр. діря, дѣря ~ болг. дѣря, макед. дѣра, с.-хорв. дѣра.

*dojka в знач. 'кормилица': карп.-укр. дойка, дѣйка, слвц. dojka, в.-луж. dójka, словин. doika ~ болг. дойка, с.-хорв. дѣйка; ср. рум. doică, венг. dajka.

*do къ lě 'пока': карп.-укр. докля ~ болг. доклѣ, с.-хорв. дѣклѣ, словен. doklě.

*doma в знач. 'домой': карп.-укр. дома ~ макед. дома, с.-хорв. дѣма, словен. domā; также *u doma 'дома': карп.-укр. удѣма ~ болг. у домā.

*do sѣta 'достаточно': карп.-укр. доста ~ болг. доста, макед. доста, с.-хорв. дѣста.

*doga в знач. 'клепка бочки': чеш. duha, слвц. dúha ~ болг. дѣга, макед. дага, с.-хорв. дѣга, словен. dōga.

*drěstьnъ 'растение Polygonum': карп.-укр. дрѣсен ~ с.-хорв. дре-сан, словен. rdēsen; ср. блр. драсѣн.

*droga 'веретено': чеш. мор. druga (произв.: слвц. drugat', польск. drugać) ~ с.-хорв. дрѣга; ср. рум. drugă.

*dud(ъ)něti 'шуметь, греметь': карп.-укр. дудніти, чеш. duněti, слвц. dudňes, польск. dudnieć ~ болг. дѣдн'е, дѣдна, с.-хорв. дѣдѣти, словен. dūdnjati.

*dvigati в знач. 'поднимать, носить': укр. двѣгати, чеш. dvihať, слвц. dvihať, н.-луж. zwigaś, польск. dźwigać, словин. dvjgāc ~ болг. дѣгам, макед. дѣга, с.-хорв. дѣзати, дѣгати, словен. dvigati.

*gliva 'гриб': карп.-укр. глѣва, чеш. hliva, слвц. hliva ~ болг. глѣва, с.-хорв. глѣва, словен. glīva; ср. рус. глѣва 'вид гриба'.

*globa 'штраф, наказание': карп.-укр. глоба ~ болг. глоба, макед. глоба, с.-хорв. глѣба, словен. glōba; ср. рум. gloabă.

*glota 'теснота, давка; толпа': карп.-укр. гломā, глит ~ болг. глоба, макед. глота, с.-хорв. глѣта, словен. glōta; ср. рум. gloată.

*gn'aviti 'давить, мять': карп.-укр. гнѣвити, чеш. hnáviti, слвц. диал. gñiavit' ~ болг. гнѣвя, с.-хорв. гнѣвити, словен. gnjáviti.

*gol'a, *golica, *golina в знач. 'безлесая вершина горы': карп.-укр. гóлиця, голѣ, слвц. hol'a, польск. hola, hala ~ болг. голѣна, макед. голина, с.-хорв. голѣна (также гѣлија, гѣлѣт), словен. gólica (также goldk, gōlec).

*gorē-dolu 'вверх-вниз': карп.-укр. гóрт-дѣлу, слвц. hore dolu ~ болг. гѣре-дѣлу, с.-хорв. гѣре-дѣле.

*gqžьva/*gqžьvъ 'соединительное кольцо, жгут': карп.-укр. гужѣвā, чеш. houžev, hužva, слвц. hužva, польск. gqżwa ~ болг. гѣжѣва, макед.

гужва, с.-хорв. *гужва, гужба*, словен. *gđva*; ср. рус. (донск.) *гужва́*, блр. (гомельск.) *гужва́*.

**gōžvati* 'мать': карп.-укр. *гужвати*, чеш. *hužvit* ~ с.-хорв. *гужвати*.

groxotъ*/grexotъ* в знач. 'каменистое место': карп.-укр. *грѣхѣт*, польск. *grzechot*, слвц. *grochoť* ~ болг. *гροхотá*, с.-хорв. *грѣхот*, словен. *grohdi*; ср. рум. *grohot*, *grohotiș*.

**gruža* в знач. 'забота, печаль': карп.-укр. *гружа* ~ болг. *гружа*, макед. *гружа*; ср. блр. диал. *гру́жа*.

**гъгнѣ* 'горшок': карп.-укр. *горня́* ~ болг. *гърне*, макед. *грне*, с.-хорв. *грне*.

**гъбаніца*, **гъбанікъ* 'вид пирога': карп.-укр. *бáник*, слвц. *banik* ~ болг. *бáница*, макед. *баница*, *баник*.

гъгъс*/гъгса* 'сук', 'желвак', 'нарост', 'спазм': карп.-укр. *гүрча*, *гүрч*, чеш. *hrče*, *hrč*, слвц. *hrča* ~ болг. *гръч*, макед. *грч*, с.-хорв. *грч*, словен. *grčá*; ср. венг. *görcs*.

**gyzdъ*, -авъ(я) 'грязный, нечистый', 'нарядный, разукрашенный': (карп.-укр. *гүзнүти*), чеш. *gyzd*, *hyzd* (также *hyzditi*, *ohyzda*), слвц. *hyzd* (*hyzdiť*, *ohyzda*), польск. диал. *gizd* (*gizdzić*, *gizdavy*) ~ болг. *гүздав* (*гүздя*), макед. *гуздав* (*гузди*, *гужу*), с.-хорв. *gizdav* (*gizditi*), словен. *gizdáv*; ср. рум. *ghizd* 'сруб колодца', *ghizdav*, *ghizdă*.

**halina* 'вид одежды': польск. *chalena*, чеш. *halena*, слвц. *halena* ~ болг. *хали́на*, с.-хорв. *haljina*; ср. венг. *halina*.

**хлар(т/к)аті* 'хлебать, чавкать': карп.-укр. *хларкати*, чеш. *chlápati*, слвц. диал. *xlápat*, польск. *chlapać*, словин. *xlapac* ~ болг. *хлáпа*, с.-хорв. *hlápati*.

холѣа, **холѣп'а* 'вид шерстяных штанов': карп.-укр. *холо́ша*, *холо́шні*, слвц. *chološne*, польск. *chołóśnie* ~ с.-хорв. *hlaće*; ср. венг. *halosnya*, *harisnya*.

**хълзати* 'скользить': карп.-укр. *хóвзати(ся)*, *хóвзатися* (также *ховз-күй*, *ховзкавиця*) ~ болг. *хлѣзам се*, *хлѣзна се*; ср. рус. (сев.) *хóлзать*.

**хүтрь(я)* в знач. 'быстрый, проворный': карп.-укр. *хүтриуй*, слвц. *chytrý*, в.-луж. *khitry*, *khětry* ~ макед. *итер*, *итар*, с.-хорв. *хүтар*, словен. *hiter*.

**ѣсьменѣникъ* 'ячмень на глазу': карп.-укр. *ячмі́нник* ~ с.-хорв. *јечменѣнк*.

**йграти* в знач. 'танцевать': карп.-укр. *играти*, *йиграти*, слвц. *hrať*, диал. *ihraťi*, ст.-польск. *igrać* ~ болг. *игрáя*, макед. *игра*, с.-хорв. *йграти*; ср. рус. (арх.) 'плясать, танцевать'.

**йті* в знач. 'ехать': карп.-укр. *імү*, слвц. диал. *tsť*, *ťťi* ~ болг. *йда*, с.-хорв. *йћи*.

**йзвара* 'сыворожка, свернувшееся молоко, творог': карп.-укр. *звара*, *зварка*, слвц. *zvара* ~ болг. *извáра*, макед. *извара*, словен. *zvара*; ср. рум. *(i)zvarniță*.

**йзвор* 'источник, родник': карп.-укр. *звір*, *ізвір*, слвц. *izvor*, польск. диал. *zwór* ~ болг. *йзвор*, макед. *извор*, с.-хорв. *йзвор*, словен. *izvòr*; ср. рум. *izvor*.

**клеръка*, также **кліръка* в знач. 'веко, ресницы', **клерати*, также **кліпати* 'моргать': карп.-укр. *кліпка*, *кліпати* ~ болг. *клѣпка*, *клѣпѣм*

(зап.), макед. *клепка* (также *клéпама*), *клепа*; ср. рум. а *clipi* 'мигать, моргать'.

**klъvась* в знач. 'дятел': карп.-укр. *клъвѣч* (также *клъвѣк*), чеш. стар. *klvač* 'нырок' ~ болг. *кълѣвч*, с.-хорв. диал. *кльвѣч*, словен. *kljuvāč*.

**kola* (pl.) в знач. 'телега': карп.-укр. *кóла* ~ болг. *колá*, макед. *кола*, с.-хорв. *кòла*, словен. *kòla*; ср. рус. диал. *кóла*.

**korавъ(ь)* в знач. 'упрямый': карп.-укр. *корáвий* ~ болг. *кóрав*.

kostrežь*/kostrižь* 'окунь': карп.-укр. *кострѣж* (также *кострѣж*), польск. диал. *kostryż* ~ болг. *кóстрѣж* (*кòструж*), с.-хорв. *кòстрѣш*, *кòстрѣш*; ср. рум. *costrăș*.

košara*/kosarь* 'загон для скота на пастбище': карп.-укр. *кошáра*, *кошáр*, чеш. *košar*, слвц. диал. *košár*, польск. *koszar*, *koszara* ~ болг. *кошáра*, макед. *кошара*, с.-хорв. *кòшара*; ср. рум. *coșár*, венг. *kosara*.

kotara*/kotarь* 'загон': карп.-укр. *котáра*, слвц. диал. *koťerac* ~ болг. *котáр*, *котáра*, с.-хорв. *кòтáр*, *кòтара*.

**koťja* 'хижина; свинарник': карп.-укр. *кўча* (слвц. *kučka*, чеш. *kuča*, польск. *kucza* < укр.) ~ болг. *кѣца*, макед. *кука́*, с.-хорв. *кўча*, словен. *kóča*; ср. блр. (ю.-зап.) *кўчка* 'хлев, небольшая хатка'.

**kujava* в знач. 'уединенная, голая местность': карп.-укр. *куява* (также *кўев*), польск. диал. *kujava* ~ с.-хорв. *кўjava*.

kvarь*/kvara*; **kvariti* 'вред; порча; болезнь', 'вредить, портить': карп.-укр. *квар*, *кварувати*, чеш. диал. *kvářit*, слвц. *kvár*, *kváriti* ~ болг. диал. *квар*, *кваря*, с.-хорв. *квар*, *кварити*, словен. *kvár*, *kváriti*.

**кьдун'а* в знач. 'арбуз': карп.-укр. *дўня*, слвц. *duňa* ~ болг. *дўня*, с.-хорв. *дўња*.

**кьrdель*, **кьрдь*/-о 'стадо': карп.-укр. *кирдель* (< слвц.?), *кирд* (< рум.), чеш. диал. *krdel*, слвц. *křdel*, польск. диал. *kierdel*, *kirdel*, *kyrdel* ~ макед. *крдар*, с.-хорв. *krdelo*, *крд*, *крдо*; ср. рум. *cîrd*.

**кьгп'ати* 'будить': карп.-укр. *корнѣти* ~ болг. *кóрня*, с.-хорв. *крѣтити се*.

**кьгрьсь* 'вид обуви': карп.-укр. *кёрпець* (< слвц.?), чеш. *krpec*, слвц. *krpec*, польск. диал. *kierpiec*, *kurpiec*, *kirpiec* ~ словен. *křpec*.

кучера*/кучерь* 'возвышенность, гора, скала': карп.-укр. *кўчера*, чеш. *kučera*, слвц. *kučer(a)*, польск. *kiczor* ~ болг. *кичур*, макед. *кичер*, *кичур*, с.-хорв. *кичер*.

**kyselica* в знач. 'варево из фруктов, муки или крупы', 'минеральная вода': карп.-укр. *кисилѣца*, *киселѣца*, чеш. *kyselice*, слвц. *kyselica*, польск. *kisielica* ~ болг. *кўселица*, макед. *киселица*, с.-хорв. *кўселица*; ср. рум. *chiselița*.

**kysnoti* в знач. 'мокнуть': карп.-укр. *кўснути* ~ болг. *кўсна*, макед. *кисне*, с.-хорв. *кўснути*; ср. рус. (ряз.) *кўснуть* 'намокать', блр. (полесск.) *кўснуты* 'мокнуть'.

**lapavica* 'снег с дождем': карп.-укр. *лѣпавица*, слвц. *lapavica*, польск. *lapawica* ~ болг. *лапáвица*, макед. *лапавица*, с.-хорв. *лѣпавица*; ср. рум. *lapoviță*.

лазь в знач. 'поле или покос в горах, горный луг': карп.-укр. *лаз*, чеш. *láz*, слвц. *laz*, польск. диал. *laz* ~ с.-хорв. *лѣз*; ср. рум. *laz*.

**lěsa* в знач. 'переносная часть плетеной ограды для скота, ворота':

карп.-укр. *lica*, чеш. *lisa*, слвц. *lesa*, н.-луж. *lěsa*, польск. диал. *lasa* ~ болг. *léca*, макед. *lesa*, с.-хорв. *lěsa*, словен. *lěsa*; ср. рум. *leasă*.

**lěska* 'орешник': карп.-укр. *licka*, чеш. *liska*, слвц. *lieska*, н.-луж. *lěska*, польск. *laska*, *leska*, словин. *lăvska* ~ болг. *леска́*, макед. *лэска*, с.-хорв. *лэска*, словен. *lěska*.

**libati* (se) '(о скотине) плохо пастись, плохо есть': карп.-укр. *libati* (se) ~ болг. *ли́бам*, (?) с.-хорв. *libati*.

**lorъta* 'мяч': карп.-укр. *лѡпта*, чеш. *loria*, слвц. *loria* ~ с.-хорв. *лѡпта*; ср. венг. *labda*, *lapta*.

**l'ubiti* в знач. 'целовать': карп.-укр. *любити* ~ болг. диал. *л'уб'ам*, с.-хорв. *љубити*.

**l'udyje* в знач. 'мужчины': карп.-укр. *люди* ~ с.-хорв. *људи*.

**lukъ-česnъkъ*, также **česnovъ lukъ*, *česnъ lukъ* 'чеснок': карп.-укр. *лук-чеснѣк*, *лук-чисно́к* ~ болг. *чэсен лук*, *чесен лук*, с.-хорв. *чесно́лук*, словен. *luk česnjak*.

**luna* 'родимое пятно': карп.-укр. *лу́ни* (также *лу́нина*) ~ болг. *лу́на*.

**luspa* 'чешуя, шелуха': карп.-укр. *лѹсна*, польск. *luspina* ~ болг. *лѹсна*.

**l'uty(jь)* в знач. 'острый, крепкий (на вкус)': карп.-укр. *лю́тий* ~ болг. *лю́т*, макед. *лю́т*, с.-хорв. *љут*, словен. *ljút*.

**lъbъ* в знач. 'череп': карп.-укр. *лоб*, чеш. *leb*, слвц. *leb*, также *lebka*, польск. *leb* ~ болг. диал. *лѡб*, также с.-хорв. *лѡбања*, словен. *lăb*.

**mačъka* 'кошка': карп.-укр. *мáчка*, чеш. диал. *maček*, *mačka*, слвц. *mačka* ~ болг. *мáчка*, с.-хорв. *мáчка*, словен. *mačka*.

**matica* в знач. 'фарватер реки', 'пчелиная матка': карп.-укр. *мáтиця* (также *мáтка*), польск. *macica* ~ болг. *мáтиця*, с.-хорв. *мáтиця*, словен. *matica*; ср. рум. *matcă*.

**merstъ* 'нерест': карп.-укр. *мéрест*, польск. *mrzost* ~ с.-хорв. *мрѣст*, словен. *mrést*.

**měxurъ*, **měxurъ* 'пузырь (в том числе мочевого)': карп.-укр. *михѹр*, *михѹрь*, чеш. *měchůř*, слвц. *mechur*, польск. *miechurz* ~ болг. *мехѹр*, с.-хорв. *мѣхур*, *мјѣхѹр*, словен. *měhúr*, *měhír*.

**molka* 'мокрое, болотистое место': карп.-укр. *мláка*, чеш. *mláka*, слвц. *mlaka*, польск. (гуральск.) *mlaka* ~ болг. *мláка*, макед. *млака*, с.-хорв. *мláка* (также *мláква*), словен. *mlaka*; ср. рум. *mlacă*.

**močъno* 'тяжело, трудно': карп.-укр. *мучно* ~ болг. *мѣчно*, с.-хорв. *мѹчно*.

**mrъša* 'падаль', 'слабое, болезненное животное': карп.-укр. *мершá* (также *ми́ршавий*, *ми́ршавити*, *мершáвиця* и проч.), чеш. *mršina* (стар.), слвц. *mršina*, польск. диал. *myrsina*, *mersza* ~ болг. *мѣрша*, макед. *мрша*, с.-хорв. *мрша*.

**naditi* 'приваривать, приклепывать': карп.-укр. *на́дити* ~ с.-хорв. *năditi*, словен. *năditi*; ср. рус. (сев.) *на́дить*, блр. *на́дзиць*.

**nadъ/-a/-o* 'лемех': карп.-укр. *над*, *нат* ~ с.-хорв. диал. *на́да*, *на́до*.

**naložiti* в знач. 'приказать, поручить': карп.-укр. *нало́жити*, слвц. *naložiť*, польск. *nałożyć* ~ с.-хорв. *нало́жити*.

**narоčъny(jь)* в знач. 'удобный': карп.-укр. *нару́чий*, *на́руч* (нареч.) ~ болг. *нарѣчен*, с.-хорв. *на́ручан*.

**nasъrditi* (se) в знач. 'рассердиться': карп.-укр. *насе́рдитися*, слвц. *nasrdiť sa* ~ болг. *насе́рдя (се)*, с.-хорв. *наср́дити*.

***naviděti** 'любить': карп.-укр. *návidimti*, чеш. *náviděti*, словц. *návidieť*, польск. *nawidzieć* ~ с.-хорв. *návideti se*.

*navidil'kь 'количество сена, поднятое на вилах': карп.-укр. *navilok* ~ болг. *navil'k*, с.-хорв. *navil'ak*.

*nevortъ(тъ) 'безвозвратно': карп.-укр. *неворотом* ~ болг. *неврът*, с.-хорв. *неврѣт*.

**nikati* 'подглядывать; слоняться без дела': карп.-укр. *нікати* (также *понікати*, *нанікати*, *занікати*) ~ болг. *зани́чам*, *надни́чам*, *надни́квам*; ср. рус. (зап., брян.) *нікать* 'ходить без дела'.

*ni(kъ)gъda 'никогда': карп.-укр. *nigda*, словц. *nikdy* ~ с.-хорв. *nigda*.

**nosja* в знач. 'одежда': карп.-укр. *ноша* ~ ср. болг. *носія*, с.-хорв. *ношња*, *ношај*, словен. *noža*.

**nukati* 'предлагать, угощать': карп.-укр. *nŭkati*, чеш. *nuknouti*, слов. *nukať* ~ с.-хорв. *nŭkati*; ср. польск. *nukać*, рус. *нѣкать*.

**nu'rati* 'нырять': карп.-укр. *нюрати*, словц. *nirít' sa*, польск. *nurzyć*, н.-луж. *nirif* ~ болг. *нѹрам се*, с.-хорв. *њорити*.

***oblazъ(kъ)**, 'крутизна; дорога в скалах': карп.-укр. *облаз*, польск. (южн.) *oblaz*, -у ~ с.-хорв. *облазак*, *обйлазак*.

***obrazъ** в знач. 'лицо, шека': карп.-укр. *образ* ~ болг. *образ*, с.-хорв. *образ*, словен. *obraz*; ср. рум. *obraz*.

**obъгъна* 'бровь': карп.-укр. *óберва*, словц. *obrva* ~ с.-хорв. *òбрва*.

***osъnyъ/-je/-a** 'солнечная или теневая сторона горы': карп.-укр. *osъnyъ, osъny, osъnyja, osъnyja, osъny* ~ болг. *osъny, usъny*, макед. *osoj*, с.-хорв. *đsoje, đsoj*, словен. *osôvje, osôje, osôj*; также болг. *prisъny, prisъne*, с.-хорв. *prisoj(e)*.

*obščirp'ьkь 'изделие из теста': карп.-укр. (в)ощипок, польск. *oszczyppek*, слвц. *ošťierok* ~ с.-хорв. *uštinak*.

*obvŕnati 'кастрировать способом перекручивания': карп.-укр. *обертати* ~ болг. *обрѣщам*, с.-хорв. *обртати*.

*obzĩm'kь, -ĩsa 'осенний сорт яблок': карп.-укр. *бзимки* ~ с.-хорв. *ozĩmĩna*.

**olkomъ* (jъ) в знач. 'жадный': карп.-укр. *lakómyj*, чеш. *lakomý*, слов. *lakomý*, польск. *łakomu*, в.-луж. *łakomny* ~ болг. *лаком*, с.-хорв. *лаком*, словен. *lákot*; ср. рум. *lăcomit, lăcomos*.

*отъбилъ в знач. 'отнять от груди': карп.-укр. відбіути ~ болг. отбѣвам, с.-хорв. одбити.

*равебѣгъ 'вечерняя еда': карп.-укр. *пáвечерок* ~ болг. *пáвечерка*, с.-хорв. *пáвечера*; ср. рус. *пáвечерия*, *пáвечериша*.

**paziti* (se) 'беречь, хранить', 'спешить': карп.-укр. *názити* ~ болг. *názja*(ся), макед. *пази*, с.-хорв. *pāziti*, словен. *paziti*; ср. рум. *a păzi*.

**perlystiti* 'искушать', **perlystnykь*, -*nica* 'искуситель, -ница': карп.-укр. *перелѣстити*, *перелѣсник*, *перелѣсниця* ~ болг. *прельстявам*, *прелѣстник*, с.-хорв. *прелѣстити*.

*perslopъ, *prislopъ, *proslopъ 'горная седловина': карп.-укр. *прислѡн*, *переслѡн*, словц. *príslop*, чеш. диал. *pr̥t̥slop*, польск. диал. *przysłop* ~ ст.-серб. (XIV в.) *pr̥šlopъ*, топон. *Prijeslop*, *Proslop*, сюда же серб. диал. *pr̥slap*, болг. *прѣслан*; ср. рум. *prislop*.

***podina** в знач. 'ровное место на склоне горы': карп.-укр. *podína* ~ с.-хорв. *pōdina*; ср. рум. *podină*.

***podъ** в знач. 'потолок, чердак': карп.-укр. *pid*, чеш. *půda*, слвц. *pôjd* ~ болг. *под*, с.-хорв. *pōd*, словен. *pōd*; ср. рум. *pod*, венг. *pad, padlas*.

***podъgъrdlica**, -аща 'нижняя часть ярма; орудок': карп.-укр. *pidgorliця* (также *pidgorля, pidgorlina*), слвц. *podhrdle*, польск. *podgardle* ~ с.-хорв. *pōdgrъlacha, pōdgrлац*; ср. полесск. *пудгърл'а*.

***podъnesti** в знач. 'претерпеть': карп.-укр. *pidnestи* *горя* ~ с.-хорв. *pōdnōcити*.

***pogotovъ, -о** в знач. 'тем более': карп.-укр. *pogotivъ* ~ с.-хорв. *pōgđово, pōgđтову*; ср. рус. диал. *pōготово*.

***pokrovъсь** 'домотканое одеяло': карп.-укр. *pokrōвецъ*, слвц. *pokroves*, польск. *pokrowiec* ~ болг. *покрōвец*, макед. *покроец*, с.-хорв. *pokrōвац*; ср. венг. *pokróc*.

***po(dъ)lazъnikъ, *po(dъ)lazъ** 'первый посетитель (человек или животное) на Новый год или Рождество', 'новогодний или рождественский обряд', 'обрядовый предмет (еловая ветка, пирог)': карп.-укр. *polāznик, polāз*, слвц. *polazník, polaz*, также *polazeň, polazenie, polazňicka*, ю.-польск. *podlāznik, podlāзу*, также *podlāzniczka* ~ ~ болг. *полēзник, пōляз*, также *заполēзване, сполēзник* и проч. (ср. *полāзим, полēзя*), макед. *полазеник*, с.-хорв. *pōлазник, pōлажāj*.

***poled(ov)ica** 'гололедица': карп.-укр. *polēdiця* ~ болг. *полēдица*, макед. *поледица*, с.-хорв. *pōледица*; ср. рум. *polegniță*; ср. также карп.-укр. *poledōviця, poledivка*, польск. *polodowica*, чеш. *poledovice, poledivka*, слвц. *poľadovica*.

***(po)lěviti** 'облегчать, ослабевать': карп.-укр. *(po)līvити*, чеш. *(po)leviti*, слвц. *poľaviti* ~ болг. диал. *лēвя*, с.-хорв. диал. *лēвити*.

***polнь, *polnina** 'равнина', 'горное пастбище', 'плоскогорье', 'гора': карп.-укр. *полонина*, чеш. *pláň, pláňě, planina*, слвц. *pláň, planina*, ю.-польск. *plania, płońia, płońina*, в.-луж. *płoń, pļona, pļonina* ~ болг. *планина*, с.-хорв. *plana, планина*, словен. *plan, planja*; ср. рум. *plai*, полесск. *полн'а*.

***pologъ** 'ряд скошенной травы': карп.-укр. *polig*, чеш. *poloh* ~ болг. *pōлог*, макед. *полог*, с.-хорв. *pōлог*; ср. рум. *polog*.

***pometati, ѓzmetati** 'преждевременно родить': карп.-укр. *пометати, зметати*, чеш. *vupometati*, слвц. *pometati, zmetati* ~ бо *омѣтка*, макед. *пометне*, с.-хорв. *помѣтати*.

***ponositi se** 'гордиться', ***ponosъ** 'гордость': карп.-укр. *поносіти ся, понōса* ~ с.-хорв. *понōсити се, пōнос*; ср. полесск. *понōсытыс'* 'гордиться'.

***poreklo** 'прозвище': карп.-укр. *pōreklo* ~ болг. *порékло*, с.-хорв. *порékло*; ср. рум. *poreclă*; рус. устар. *порékло*.

***poskoriti (še)** 'поторопить(ся)': карп.-укр. *поскоритися* ~ с.-хорв. *поскōрити*; ср. рус. диал. *поскоритъся*.

***pošъstъ** 'эпидемия': карп.-укр. *pōшесть* ~ с.-хорв. *pōшаст*; ср. полесск. *pōшэс'ц'*, рус. (зап., пск.) *pōшесть, pōшерсть*.

***poteka, *potečka** 'тропинка': карп.-укр. *путик, путѣчка* ~ болг. *пѣтека, пѣтечка*; ср. рум. *potecă*.

***potъka/-ъ** 'уток': карп.-укр. *pōтак, пītка, пōтка* ~ с.-хорв. *pōтка*.

***(sъ)praviti** 'делать', 'строить': карп.-укр. *(с)правѣити* ~ болг. *(с)прѣвъ*, с.-хорв. *(с)прѣвити*.

***pravъ(jъ)** в знач. 'прямой': карп.-укр. *правѣй*, слвц. *pravu* ~ болг. *прав*, с.-хорв. *прѣв*.

***pravъdati (se)** 'оправдывать(ся)': карп.-укр. *правѣдати(ся)* ~ с.-хорв. *прѣдати(се)*; ср. рус. диал. *правѣтъ* 'оправдывать'.

***pripraviti** в знач. 'приготовить': карп.-укр. *припрѣвити*, слвц. *pripraviti* ~ с.-хорв. *прѣправити*.

***pristati** в знач. 'соглашаться': карп.-укр. *пристѣти*, слвц. *pristat* ~ болг. *пристѣвам*, с.-хорв. *прѣстати*.

***pristigati** в знач. 'поспевать', 'созревать': карп.-укр. *пристигѣти* ~ болг. *пристѣгам*, с.-хорв. *прѣстигнати*; ср. рус. (сев.) *пристигать*.

***priveden(ъ)nikъ, -ica** 'неродной сын, дочь': карп.-укр. *приведѣнник*, *приведѣнница* ~ болг. *приведѣник*, *приведѣница*; ср. полесск. *прывѣд'и-нѣц*, рус. *приведѣнец* 'приведенный куда-либо'.

***proširiti** 'расширить': карп.-укр. *прошѣрити* ~ болг. *прошѣря*, с.-хорв. *прошѣрити*.

***protakъ** 'решето, сито': карп.-укр. *протак* ~ болг. *прѣтак*, с.-хорв. *прѣтѣк*.

***prozorъ** в знач. 'окно; отверстие в крыше': карп.-укр. *прозѣр* ~ болг. *прозѣр(ец)*, макед. *прозорец*, с.-хорв. *прѣзор*; ср. рус. *прозѣр*, *прозѣрина*.

***pustarъ/-а** 'пустошь, брошенная земля': карп.-укр. *пустѣр* ~ с.-хорв. *пѣстара*.

***pustъjъ** в знач. 'несчастный; проклятый': карп.-укр. *пустѣй* ~ болг. *пуст*.

***prъzniti (se)** 'оскоромиться', 'испачкаться': карп.-укр. *пѣрзнитися*, слвц. *przniť* ~ с.-хорв. *прѣзнити*.

***prъlxъ** 'хомяк': карп.-укр. *повх*, слвц. *plch*, чеш. *plch*, польск. *połcha*, *pilchu* ~ болг. *плѣх*, с.-хорв. *пѣх*.

***prъčъ** 'козел': карп.-укр. *перч*, *пирч*, чеш. *prčá*, *prka*, слвц. *prčá*, возможно, польск. *park*, *parch* ~ болг. *прѣч*, *пѣрч*, макед. *прч*, с.-хорв. *прѣч*; словен. *perč*; ср. рум. *pîrci*.

***prъtъ, -ina** 'тропинка': карп.-укр. *перть*, *пирть*, чеш. *prť*, *pirt'*, *pîrc*, слвц. *prť*, ю.-польск. *perć*, *purć* ~ болг. *пѣртина*, макед. *прт*, *пртина*, с.-хорв. *прѣт*, *прѣтина*; ср. рум. *pîrtie*.

***prъsovati** в знач. 'ругать': карп.-укр. *псувѣти*, также польск. *psioczyć* ~ болг. *псувам*, с.-хорв. *псѣвати*, словен. *psovati*.

***rѣzъnъ** 'отрезанный кусок': карп.-укр. *рѣзень*, слвц. *rezeň* ~ болг. *рѣзен*, с.-хорв. *рѣжањ*; ср. рус. устар. *рѣзень*.

***roniti** в знач. 'течь, проливать': чеш. *roniti*, слвц. *roniť*, польск. *ronić*, в.-луж. *ronić*, н.-луж. *roniś*, возможно, сюда же карп.-укр. *роня* 'тритон' ~ болг. *рѣня*, с.-хорв. *рѣнити*.

***ruda/-ina** в знач. 'твердая, каменистая почва': карп.-укр. *рудѣ* ~ болг. *рудѣна*, с.-хорв. диал. *рудѣна*.

***rupa** 'яма; пещера': карп.-укр. *рѣпа* ~ болг. *рѣпа*, также *рѣпа*, макед. *рупа*, с.-хорв. *рѣпа*, также *гѣра*, словен. *gûra*.

***samo** 'только, лишь': карп.-укр. *самѣ* ~ болг. *самѣ*, с.-хорв. *самѣ*; ср. полесск. *самѣ*.

**samodruga* 'беременная': карп.-укр. *самодруга*, чеш. *samodruhá*, слвц. *samodruhá* ~ с.-хорв. *самодруга*.

**sanьk(ov)ati* (se) 'кататься на санках': карп.-укр. *сáнкатися*, *санкувати*, слвц. *sánkovati sa* ~ болг. *сáнкам се*, с.-хорв. *сáнкатисе*.

**selme* в знач. 'вершина горы, горный хребет': слвц. *slemeno*, чеш. *sleť*, польск. *ślemień* ~ с.-хорв. *слѐме*, словен. *slěte*.

**šedadlo* 'насест, гнездо': карп.-укр. *сідало*, слвц. *sedadlo* ~ болг. диал. *седáло*, макед. *седело*, с.-хорв. *сѣдало*; ср. полесск. *сідало*.

**skakальсь* 'земляная блоха; кузнечик': карп.-укр. *скака́лец*, *скаку́лец* ~ болг. *скакалѐц*, также с.-хорв. *скáжавац*.

**skala*, **skалька* в знач. 'шепка': карп.-укр. *скалá*, *скáлка* ~ с.-хорв. *скáла*, также *скáље*, словен. *skála*; ср. рус. (сев.) *скалá*, *скáлка* 'береста'.

**(u)skokъ* в знач. 'водопад, порог в реке': карп.-укр. *скок*, *ускóк*, слвц. *skoку*, польск. *skok* ~ болг. *скок*, с.-хорв. *skòk*, словен. *skòk*; ср. рум. *scoc*.

**skолька* 'ракушка': карп.-укр. *скóлька*, польск. *skojka* ~ болг. *скóлка*, *скóйка*, с.-хорв. *шкòлька*, словен. *skòljka*; ср. рум. *scoiсă*.

**skomiti* 'зудеть, болеть': карп.-укр. *скомтáти* ~ словен. *skotéti*; ср. рус. (сев.) *скоміть*.

**(o)skorухъ/-ša* 'рябина': карп.-укр. *скóрұх*, *скóрұшина*, слвц. *oskoruša*, *skoruša*, ю.-польск. *skoruch*, *skoruszyna* ~ болг. *скору́ша*, *оскору́ша*, макед. *скоруша*, *оскоруша*, с.-хорв. *òскоруша*; ср. рум. *scoriș*.

**skripьс/-lca* 'блочок в ткацком станке': карп.-укр. *скрі́пниця*, *скри́плиці* ~ болг. *скрипѐц*, *скрипáлец*; ср. рум. *scripete*.

**slěpакъ* в знач. 'нарыв': карп.-укр. *слі́пáк* ~ с.-хорв. *слѣпáк*, также болг. *слепѹчище*, *слепóк*.

**slězъ* 'растение *Malva silvestis*': карп.-укр. *слиз*, слвц. *slez*, чеш. *sléz*, польск. *ślaz* ~ болг. *слез*, с.-хорв. *слѣз*, *шлѣз*.

**slivovica* 'водка из слив': карп.-укр. *сливови́ця*, чеш. *slivovice*, слвц. *slivovica* ~ болг. *сли́вовица*, с.-хорв. *шлѣ́вовица*, словен. *slívnovica*.

**smerkъ/-a* 'ель': карп.-укр. *смерѐка*, чеш. *smrk*, *smrek*, слвц. *smrek*, польск. *smerek*, *smrek*, *świerk*, в.-луж. *šmrjek*, н.-луж. *šmrok* ~ болг. *смрѐка*, с.-хорв. *смрѣ́ка*, словен. *smreka*; ср. венг. *szömröke*.

**(po)sočiti* в знач. 'указывать': карп.-укр. *посочі́ти* ~ болг. *сóча*, *посóча*.

**sqdina* 'посуда': карп.-укр. *суді́на* ~ болг. *сѣд́ина*.

**sqтєsькъ/-ka* 'узкий проход, ущелье': карп.-укр. *сұ́тісок*, чеш. *sou-těska* ~ с.-хорв. *сұ́тєска*, словен. *sutěska*.

**stěna* в знач. 'скала, откос': карп.-укр. *стінá*, также *стінка*, польск. *ściana* ~ болг. *стенá*, с.-хорв. *стѐна*, также *стѣње*.

**stolьnikъ* 'скатерть': карп.-укр. *стóлник* ~ с.-хорв. *стóльнáк*; ср. рус. (ярс.) *стóльник*.

**stopica* 'ловушка на зверя': карп.-укр. *ступи́ця* ~ болг. *стѣ́пниця*, с.-хорв. *стў́пниця*; ср. рус. (ярс.) *стў́пниця*.

**sukanica* 'еда из кусочков теста': карп.-укр. *сукани́ця*, слвц. *suka-nica* ~ с.-хорв. *суканац*.

**szьborъ* 'ярмарка': карп.-укр. *збір* ~ болг. *сбор*, *сѣбор*; ср. рус. (ярс.) *сбор*.

**szьcipati* (se) 'окоченеть': карп.-укр. *сцї́пати(ся)* ~ с.-хорв. *сцї́пати се*.

**szgoda* 'соглашение', 'помолвка', **szgoditi* (se) 'договариваться (в том числе о свадьбе)': укр. *згода, згодіти(ся)*, слвц. *zhoda*, польск. *zgoda, zgodzić się* ~ болг. *сгода се*, также *годѣж*, с.-хорв. *згѣда, згѣдиту*; ср. рус. диал. *сгѣда*.

**szkarati* (se) 'чахнуть, умирать': карп.-укр. *скѣпати, скѣпнути*, слвц. *skarati* ~ болг. *скѣпя се*, с.-хорв. *скѣпати*.

szklerь*/szklorь* 'горная цепь': карп.-укр. *склеп*, также *склепѣке* ~ с.-хорв. *склѣп*, словен. *sklor*.

**szlрь* 'приспособление для ловли рыбы': карп.-укр. *совп* ~ с.-хорв. *сѣп*.

**szpirati* (se) 'задерживать': карп.-укр. *спѣрати(ся)*, слвц. *spierati* *sa* ~ болг. *спѣрам*; ср. рус. *спирать*.

**szgѣtja* в знач. 'счастье': карп.-укр. *стряча* ~ болг. *срѣща*, с.-хорв. *срѣћа*.

**szь noktъ* 'вчера': карп.-укр. *снѣчи* ~ болг. *снѣщи*, с.-хорв. *снѣћи*, также *сѣноћ*, словен. *snodci*.

**svaditi* (se) 'ссорить(ся)': карп.-укр. *свадітися, сважѣтися* ~ болг. *сваждам се*, с.-хорв. *свадиту*; ср. рус. *свадиться*

**szupovъсь* 'племянник': карп.-укр. *синовѣць*, слвц. *supoves*, польск. *supowiec* ~ с.-хорв. *синовѣц*; ср. полесск. *сынѡвѣц*.

**szcipavъka* 'насекомое', 'клешня': карп.-укр. *щѣпавка*, польск. *szczupawka* ~ болг. *щѣпѣлка*, с.-хорв. *штѣпѣлка*, также *штѣпѣвац*; ср. рус. *щѣповка*.

**szelpati* 'рыться носом в чем-л.: шлепать': карп.-укр. *шолѡпати*, слвц. *šliarati* ~ болг. *шлѣпам*, с.-хорв. *шлѣпати*.

**szul'акъ* 'кукурузный початок и др.': карп.-укр. *шуляк, шульѡк, шулка*, слвц. *šul'ok, šul'ka* ~ с.-хорв. *щѣлак*; ср. венг. *sulyok*.

**szuma, шумѣла* 'листья', 'лес': карп.-укр. *шумѣла, шумѣлина* ~ болг. *шѣма*, макед. *шума*, с.-хорв. *шѣма*.

**takъ(jъ)* в знач. 'немедленно': карп.-укр. *тѣкой* ~ с.-хорв. *тѣкѣ*.

**teknoti* 'коснуться; прийти в голову': карп.-укр. *тѣкнути* (*його тѣкло*) ~ болг. *тѣква ми*, с.-хорв. *тѣкнути*, словен. *těknuti*; ср. рус. *тѣкать, тѣклый*.

**tezъko* в знач. 'едва ли': карп.-укр. *тѣжко* ~ с.-хорв. *тѣшко*.

**tѣменьница/-аща* 'короста на голове ребенка': карп.-укр. *тѣмениця* ~ с.-хорв. *тѣмѣѣча*, словен. *tēmenice*.

**tѣr'ati* 'гнать': карп.-укр. *тѣрати* ~ болг. *тѣрам*, с.-хорв. *тѣрати*.

**tqъa* в знач. 'град': карп.-укр. *тѣча* ~ с.-хорв. *тѣча*, словен. *tqъa*.

**trepeta/-jika* 'осина': карп.-укр. *трѣпѣта* ~ болг. *трѣпетлика*, с.-хорв. *трѣпѣтлика*, словен. *trpetika, trpetljika*.

**troska* 'шлак': карп.-укр. *троска* ~ с.-хорв. *трѣска*.

**trupъ* в знач. 'туловище': карп.-укр. *труп*, слвц. *trup* ~ болг. *труп*, с.-хорв. *трѣп*; ср. рум. *trup*.

**trъdlo* 'место стоянки скота': карп.-укр. *тѣрло* ~ болг. *тѣрло*, с.-хорв. *трѣло*; ср. рум. *trfă*, полесск. *тѣрло*.

**tvъrdo* в знач. 'очень': карп.-укр. *твѣрдо* ~ болг. *твѣрде*.

**trъina* 'полова, мелкая солома': карп.-укр. *трѣина*, чеш. *trínu* ~ болг. *трѣина*, с.-хорв. *трѣина*; ср. рум. *trînă*.

**ujedъno* 'вместе': карп.-укр. *уѣдно* ~ с.-хорв. *уједно*.

**urъva/-lpa* и т.д. 'обрыв, пропасть': карп.-укр. *уров, урвісько, ур-віще*, чеш. *urva, urvisko*, польск. *urwa, urwisko* ~ болг. *урва, урвище*, с.-хорв. *урвина*, сюда же словен. *rôv, rovišče*; ср. рус. (арх.) *урывина, урві-берегá*.

**usloviti* 'сообщить': карп.-укр. *услóвити* ~ с.-хорв. *услòвити*.

**utaložiti (se)* 'успокоить(ся)': карп.-укр. *уталóжити(ся)* ~ болг. *уталóжвам (се)*, с.-хорв. *утáложити се*.

**vapa* 'лу́жа': карп.-укр. *ва́па* ~ ст.-слав. ВАПА, болг. *ва́па*, словен. *vdpa*.

**verme* в знач. 'погода': карп.-укр. *верéм'я* ~ болг. *вре́ме*, с.-хорв. *вре́ме*, словен. *vrême*; ср. рум. *vreme*.

**věгъnikъ* в знач. 'верующий': карп.-укр. *ві́рник* ~ с.-хорв. *вѣ́рник*, словен. *větnik*.

**věščica* 'ведьма': карп.-укр. *ві́щця*, слвц. *veščica*, польск. *wieszczyca* ~ болг. *вѣщица*, с.-хорв. *вѣштица*; ср. рус. (прм., сиб.) *вѣщица*.

**vidlica* в знач. 'челюсть': карп.-укр. *ві́лиця* ~ болг. *ві́лица*, с.-хорв. *вѣ́лица*; ср. полесск. *вѣ́лиц'и*, рус. (вят.) *вѣ́лы 'рот'*.

**vinoberъ(ma)*, **vinobъrаnъje* 'время сбора винограда': карп.-укр. *виноб́ране*, слвц. *vinobranie*, чеш. *vinobraní*, польск. *winobranie* ~ болг. *винобѣрма, винобѣр*.

**vigrъ* 'водоворот': карп.-укр. *вир*, слвц. *vir*, чеш. *vír*, польск. *wir* ~ болг. *вир*, макед. *вир*, с.-хорв. *вѣ́р*, словен. *vír*; ср. рус. (зап.) *вир*.

**vol(ov)arъ* 'пастух волов': карп.-укр. *волова́рь, волáрь, воля́р*, слвц. *vôliar*, чеш. *vůlař*, польск. *wolarz* ~ болг. *волова́р*, макед. *воловар*, с.-хорв. *вòла̑р*.

**vъdъbno* 'внутри': карп.-укр. *уднѹ*; ср. слвц. *dni* ~ с.-хорв. *удно*.

**vъpnъka* 'снаружи': карп.-укр. *вон́ка*, слвц. *vonki* ~ болг. *вѣ́нка*, с.-хорв. *вòнка*; ср. рус. (твр.) *вонкѹ*.

**vykatl* 'кричать': карп.-укр. *ві́кати*, болг. *вѣ́кам*, с.-хорв. *ві́кати*.

*(*po*)*vъгхъnina* 'сметана, сливки': карп.-укр. *верхнѹна, поверхнѹна* ~ болг. *вѣ́хнина, повѣ́хнина*.

**vъrstъ/-a* в знач. 'сверстник', **vъrstъnikъ/-nica* 'ровесник, ровесница': карп.-укр. *верстъ, верствá, вѣ́рстник, вѣ́рстница*, также *верста́к, верствáк*; ср. слвц. *vrstovník, vrstovníčka* ~ болг. *връст, връстнѣк, връстница*, с.-хорв. *врснѣк, словен. vřsta*; ср. рум. *vîrstă*.

**vъrt'adlъka* 'приспособление для сматывания ниток в клубок': карп.-укр. *вирт'ялка* ~ болг. *вѣ́рт'ялка*; ср. рум. *vîrtelniță*.

**vъrtъrъ* в знач. 'пещера, ущелье': карп.-укр. *вертѣ́н*, польск. *wertep, wertepu* ~ болг. *вѣ́ртон*, макед. топ. *Bpmon*, с.-хорв. *вѣ́тот*, словен. *vrtêr*; ср. рус. диал. *вертѣ́н*; рум. *vîrtop, hîrtop*.

**zadušъnica* 'обряд поминовения усопших': карп.-укр. *заду́шница*, также *заду́шна субота*; ср. слвц. *zadušný* ~ болг. *заду́шница*; с.-хорв. *задушнице*, также *задушни четвѣртак, задушнá недеља*; ср. рус. диал. *заду́шье*.

**zadъ* в знач. 'вслед за': карп.-укр. *зад* ~ болг. *зад*, макед. *зад*, словен. *zdd*.

zanoga в знач. 'котловина': карп.-укр. *занóга* ~ болг. *Заногу, Заножене*, с.-хорв. *Zanoga, Zanolina*, словен. *Zanoga*; ср. рум. *zănoagă*.

**zaušъnica* в знач. 'свинка': карп.-укр. *зау́шница*, польск. *zausznica* ~

болг. *заушница*, также *заушки*, с.-хорв. *заушница*, также *заушке*; ср. рус. *заушница*.

**zazoriti* 'рассвести': карп.-укр. *засоріти* ~ болг. *засорява*, с.-хорв. *засорити*; ср. рус. (нвг.-чрп.) *засорить*.

**zim(o)zelen* 'вечнозеленое растение': карп.-укр. *зимозелень*, *зимозеля*, также *самозелень*, слвц. *zimozeleň*, чеш. *zimozelen*, польск. *zemozeleń*, *zimozielon*, *samozeleń* ~ болг. *зимзелен*, с.-хорв. *зимзелён*, *зимозелён*, словен. *zimzélen*.

**znoj* в знач. 'пот': слвц. *znoj*, чеш. диал. *znoj*, ю.-польск. *znoj* ~ болг. *зној*, макед. *зној*, с.-хорв. *зној*.

**žežьkь(jь)* 'горячий, жаркий': карп.-укр. *жежский*, *жежко* ~ болг. *жежськ*, *жежок*, с.-хорв. *жедан*, словен. *žédan*.

**žedьnъ(jь)* в знач. 'испытывающий жажду': карп.-укр. *жадний* ~ болг. *жаден*, с.-хорв. *жедан*, словен. *žédan*.

**žamogъ* 'болтовня': карп.-укр. *жамор*, *жаморити* ~ с.-хорв. *жамор*.

**žigrъ* в знач. 'желудь, буковый орешек': карп.-укр. *жир* ~ болг. *жир*, с.-хорв. *жѣр*, словен. *žir*; ср. рум. *jir*.

**živina* в знач. 'скот': карп.-укр. *живина́*, польск. *żywina* ~ болг. *живина́*, с.-хорв. *живѣна*, словен. *živina*; ср. рум. *jivină*.

К ПРОБЛЕМЕ РЕКОНСТРУКЦИИ НА ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОМ УРОВНЕ (на материале азербайджанского языка)

На современном этапе лингвистической науки значительно возрос интерес к проблеме реконструкции на всех уровнях языка. Достаточно констатировать тот факт, что среди вынесенных на обсуждение важнейших проблем на IX Международном конгрессе лингвистов в 1962 г. на первом месте стоял вопрос о методах внутренней реконструкции [Звегинцев, 1965, 382]. Этот интерес вызван, по-видимому, тем, что только путем реконструкции можно установить архетипы тех фономорфологических, лексико-семантических и синтаксических явлений, которые были присущи языку или группе родственных языков в дописьменный период их развития. Однако неразработанность четкой и ясной методики реконструирования намного осложняет адекватное решение данной проблемы. Поэтому Г.А. Климов вовсе не случайно подчеркивает, что, "несмотря на существование к настоящему времени множества эмпирических исследований, демонстрирующих методические возможности различных разновидностей реконструктивной процедуры, а также некоторых специальных работ, посвященных конкретным приемам лингвистической реконструкции (ср. статьи Э. Германа, Дж. Бонфанте, Е. Куриловича, М. Майрхофера, М. Корхонена и др.), общее состояние разработки этой ключевой для генетического языкознания проблематики и поныне трудно считать вполне удовлетворительным, что побуждает вновь обращаться к самым основаниям лингвистической реконструкции" [Климов, 1988, 9]. По мнению лингвистов, наибольшие трудности в деле реконструиро-

вания первоначальной картины языковых явлений возникают на лексическом уровне. Между тем именно здесь можно ожидать интересных выводов о прародине носителей исследуемого языка, об укладе их жизни, исторической картине их материальной и духовной культуры и т.д. [Серебренников, 1973, 30; Милитарев, 1983].

На вопрос, возможна ли реконструкция в равной мере на всех уровнях языка, Э.А. Макаев отвечает, что фонемный и морфемный уровни допускают глобальную реконструкцию, в то время как синтаксический и лексико-семантический уровни допускают лишь парциальную, или частичную, реконструкцию [Кононов, 1980, 9, 89—91], ибо проблема реконструкции на лексическом и семантическом уровнях затрудняется еще тем, что пока не создана целостная историческая семасиология не только той или иной языковой семьи, но даже отдельных языков. И до тех пор, пока не разработана до конца методика определения архаичного или первичного значения слов, пока отсутствует системная историческая семасиология языков, пока системно не исследованы основные семантические разряды слов конкретных языков, любая лексико-семантическая реконструкция, будь она общетюркской, индоевропейской или семитской, будет иметь лишь эвристический и субъективный характер. На Международном симпозиуме по проблемам этимологии, исторической лексикологии и лексикографии О.Н. Трубачев отметил: «намерение говорить о "приемах" семантической реконструкции еще не означает, что уже решены принципы семантической реконструкции и другие базисные вопросы, и не освобождает от их обсуждения» [Трубачев, 1984, 47].

Почти во всех работах по историческому языкознанию, в которых рассматриваются вопросы исторической лексикологии и семасиологии, содержится анализ общих законов языковых изменений. Основной же целью лексической и семантической реконструкции является установление того первичного значения слова, к которому восходят все последующие значения, или выявление причин, как одно значение породило другое, разумеется с учетом установления первоначального звукового облика слова. Лексико-семантическая реконструкция должна дать научно аргументированный ответ прежде всего на вопрос о том, какое из значений полисемантического слова является более архаичным и какое представляет собой инновацию. Реконструирование не представляет особой сложности, когда между первичным и производным значениями обнаруживается семантическая близость или семантическая мотивированность (ср., например, семантическую преемственность между латинским глаголом *carpo* 'собирать плоды' и прагерманской формой **karpisto* '(время) самое удобное для сбора урожая', а также древневерхнемецким именем *herhist*, которое в немецком развилось в *Herbst* 'осень', а в английском дало *harvest* 'жатва, урожай'; к рассматриваемой группе слов относят и греческое имя существительное *κάρπος* 'плод земли, снятый урожай'); когда же между первичным и производным значениями семантическая связь требует особого объяснения, то реконструкция представляет особую трудность (ср., например: в индоевропейских языках слова со значением 'верность; верный' являются производными от слов со значением 'дере-

во'; англ. *trust* 'верность' и *true* 'верный', а также *tree* 'дерево' восходят к **drū*, которое означало 'дерево').

До какой же хронологической глубины в истории языка позволяет прийти реконструкция? Е. Курилович справедливо отмечает, что "мы должны довольствоваться реконструкцией этапов, граничащих с исторической действительностью" [Kurilovicz, 1964, 58]. Хронологическая глубина реконструкции в определенной степени зависит от древности письменных памятников. Г. Дёрфер пишет по этому поводу следующее: "Наши возможности реконструирования прототюркских форм ограничены. В то время как индоевропейские языки документированы памятниками, датированными задолго до Р.Х., древнейшие тюркские документы относятся лишь к VIII в. нашей эры. Мы предполагаем, что на основе внутритюркских сравнений можно спокойно реконструировать такой протоязык, который на одно тысячелетие древнее древнейших письменно зафиксированных документов. Это означает, что, например, относительно индоевропейского мы можем реконструировать такую систему для этой семьи языков, которая существовала за 1800 лет до Р.Х. Что же касается семитских языков, то мы можем реконструировать этап, относящийся к IV тысячелетию до Р.Х., однако по отношению к тюркским языкам при реконструкции возможно постулировать этап, относящийся лишь к 200 г. до Р.Х." [Doerfer, 1976, 2]. И, по-видимому, не случайно А.М. Щербак в начале приложения к своей "Сравнительной фонетике тюркских языков", содержащего архетип односложных тюркских слов, пишет: "Избранный уровень рассматривается нами как состояние тюркских языков, отделенное от первых письменных памятников промежуток в 7—8 столетий, поэтому степень надежности реконструкции зависит главным образом от того, насколько правильно соблюдены процедуры сравнительно-фонетического исследования... Что касается их содержания, то они выводятся из суммы зарегистрированных значений с непременным выяснением соотношения различных лексических групп и отдельных слов и учетом определенной последовательности семантических изменений" [Щербак, 1970, 193].

С другой стороны, хорошо известно, что "тюркские рунические памятники, судя по степени развитости их морфологии и синтаксиса, должны были иметь предшественников в виде литературных памятников, которые не дошли до нас" [Кононов, 1980, 3]. Исходя из этого, если предположить, что начальный этап формирования древнетюркского письменно-литературного языка, базирующегося на более древней устно-поэтической традиции многочисленных тюркских племен, относится к II—I вв. до н.э. и к началу нашей эры, а также если учесть, что тюркский агглютинативный языковый строй сравнительно менее изменчив, то можно считать, что по отношению к тюркскому языку мы можем реконструировать тот этап или ту систему, которая существовала примерно в конце II тысячелетия и начале I тысячелетия до н.э. Здесь уместно вспомнить слова одного из крупнейших лингвистов XIX в., Ф.М. Мюллера, который, пораженный логической стройностью и совершенством тюркских языков, писал: "Такова работа человеческого разума, реализацию которого мы ви-

дим в языке. Но в большинстве языков из этих ранних процессов ничего не остается в поле зрения. Они же (грамматические формы и значения слов тюркских языков. — В.А.) находятся перед нами как нерушимые скалы, и только микроскоп филолога в состоянии обнаружить те остатки органической жизни, с помощью которых они построены... Мы можем предположить, что тюркский язык является результатом воплощения мысли некоего выдающегося общества, состоящего из обогащенных опытом мудрости людей" [Müller, 1871, 355]. Мы можем сослаться также на замечание Э.А. Макаева по поводу предложения Н.С. Трубецкого отказаться от понятия праязыка и заменить учение о семье индоевропейских языков, образовавшейся в результате распада общиндоевропейского языка или праязыка, учением об индоевропейском языковом союзе. С точки зрения Н.С. Трубецкого, презумпция индоевропейского праязыка противоречит тому факту, "что мы всегда находим в древности множество индоевропейских языков", хотя ученый прямо вслед за этим утверждает: "Правда, предположение о едином индоевропейском праязыке нельзя признать совсем невозможным" [Трубецкой, 1958, 66]. Э.А. Макаев же утверждает следующее: "Бесспорно, что, опускаясь в глубь веков, мы находим множество индоевропейских языков. Но разве нужно доказывать, что индоевропеист может дойти лишь до сравнительно небольшой временной глубины (II тысячелетие до нашей эры), в то время как между существованием индоевропейского праязыка и древнейшими памятниками на отдельных индоевропейских языках лежит ничем не заполнимая пропасть в несколько тысячелетий" [Макаев, 1977, 71].

Опыт реконструкции на лексическом уровне позволяет прийти к выводу о том, что если фоморфологическое развитие слова связано с фонетической структурой каждого языка в отдельности или группы генетически родственных языков, то процесс лексико-семантического развития ряда слов в разнотипных языках иногда обнаруживает поразительное сходство и тем самым носит в определенной степени универсальный характер, что, несомненно, связано с типологией мышления. К. Бальдингер отмечает, что, как правило, в основе наименований понятия "работать" лежат этимоны, обладавшие первоначально значением 'мучиться' [Baldinger, 1958, 53—93]. В связи с этим Бальдингер рассматривает романское слово *trebalh*, некогда означавшее 'мучение' и в результате лексико-семантического развития приобретшее значение 'работа'. Известно, что глагол *travailler*, первоначально означавший 'мучить', на современном этапе его развития имеет значение 'работать'. Этот глагол является производным от существительного *travail* 'работа'. Слово *travail* восходит к вульгарно-латинскому *tripalium* 'особый станок, сдерживающий лошадей в момент подковывания'. *Tripalium* (досл.: 'приспособление на трех сваях') позже стало означать 'машина для пыток'. Р.А. Будагов пишет, что *travailler* первоначально означало 'мучить с помощью *tripalium*', а затем 'мучить вообще' [Будагов, 1963, 85—90]. По мнению В. Банера, и латинское *laborare* некогда означало 'терпеть муки, испытывать затруднения', затем оно стало употребляться в значении 'нап-

рягаться' и, наконец, 'работать' [Банер, 1972, 21—23]. Исходя из развития значений *travailler* и *laborare*, Банер утверждает, что глагол *mun-çi* 'работать' в современном румынском языке восходит к славянскому *monka* 'мука', заимствованное же из латинского языка *trudo* в старорумынском языке имело значение 'усилие, мучение; тяжелая работа' [там же, 23].

Опираясь на сказанное выше, попытаемся реконструировать общетюркское слово *ämäk*. Понятие "труд" в современном турецком языке передается с помощью слова *emek*, в азербайджанском же языке — *ämäk*. Эти слова восходят к древнетюркскому *ämgäk*. Наряду со значением 'труд, работа' Э.В. Севортян зафиксировал у слова *ämgäk* также значения 'мучение, страдание, тяготы' и 'забота' [Севортян, 1974, 272—273]. Слово *ämgäk* является производным от древнего глагола *ämgä-* 'мучить(ся)'. По мнению Э.В. Севортяна, и чувашский глагол *anqa-* 'мучиться, страдать (от голода и жажды)' этимологически связан с глаголом *ämgä-* [там же, 273]. Он считает, что *ämgä-*, в свою очередь, является производным от имени **em/*im*, которое на определенном этапе развития тюркских языков употреблялось и как глагол. Следовательно, **em/*im* некогда синкретически означало и 'мучение', и 'мучиться'. По Севортяну, древнейшей формой рассматриваемого корня является **en*, точнее **eñ*. При этом ученый опирается на тот факт, что первый сохранился в составе чувашского глагола *anqa-*, а второй — в составе казахского *enbek* [там же, 273—274]. По нашему мнению, **em/*im* или **en/*eñ* также не могут быть интерпретированы как первичная корневая морфема; **im* или **eñ* является производным от древнейшего глагольно-именного корня **i-*, который, по-видимому, имел значения 'мучить(ся)', 'страдать', 'скорбеть', 'причинять боль'. Как известно, с помощью афф. *-(i)š*, *-(i)m*, *-(i)n* в тюркских языках образуются имена от глагольных основ или корней. Поэтому можно заключить, что слова **im*, **en* и **iš* являются производными от корня **i-*. Слово *iš*, которое почти во всех современных тюркских языках имеет значение 'работа', по-видимому, первоначально означало 'горе, беда', 'трудности', 'наказание', о чем свидетельствуют значения таких устойчивых глагольных сочетаний в азербайджанском языке, как *iš ač-* 'создавать трудности', 'приносить горе', *išä düš-* 'попасть в беду', *bašına iš gäl-* 'случиться беде', *iš kās-* 'определить срок наказания'. Э.В. Севортян считает, что основу семантического состава *iš* образуют значения группы 'работа', 'дело'; значения же 'беда', 'неприятность', 'грех', которые в качестве седьмого значения слова *iš* с пометой "переносное по происхождению", ученый относит к вторичным [там же, 395]. Мы же, напротив, убеждены в том, что слово *iš*, как и *ämäk*, восходит к древнейшему глаголу **i-* 'мучить(ся)', 'страдать', 'причинять боль'. Следовательно, *iš* и *ämäk*, первоначально обозначавшие 'мучение', позже в связи с общими законами мышления, в результате метафорического переноса, приобретают на определенном этапе развития языка вторичные значения 'работа', 'труд'. По-видимому, к корню же **i-* восходит глагол **inlä-* 'мучиться', 'страдать', 'стонать', в составе которого *-lä-* является глаголообразующим аффиксом. Почему-то Э.В. Севортян считает, что

именной член глагола *inlä-*, т.е. *in*, имеет подражательное значение [там же, 367]. Попутно отметим, что глагол *imäklä*, производный от основы *imäk*, в большинстве тюркских языков имеет значение 'ползать (о ребенке)'. Не только фономорфологическое тождество основы *imäk* данного глагола с *ämäk* 'мучение', но и факт употребления глагола *lä-* в староузбекском языке в значении 'трудиться' позволяют прийти к выводу о том, что глагол *imäklä-* также восходит к *im ~ *i-* и первоначально тоже мог иметь значение 'мучиться'. Тем более, что семантическое родство 'мучиться', 'трудиться', 'ползать (о ребенке)' мотивировано.

В "Диване" М. Кашгари и в ряде других средневековых письменных памятников и словарей отмечено слово *äñ* в значении 'щека'. В современном азербайджанском языке данное слово в форме *äng* означает 'нижняя челюсть'. В средневековых тюркоязычных письменных источниках слово *äñ* и его фонетический вариант *äñäk* употребляются то в значении 'щека', то в значении 'челюсть', 'подбородок'. Поэтому не случайно, что Дж. Клоусон при рассмотрении слова *äñäk* предлагает сравнить его со словом *jañak* 'щека' [Clauson, 1972, 183], а В.Г. Егоров слово *janax* чувашского языка включает в один ряд с *äñäk* [Егоров, 1964, 353], против чего возражает Э.В. Севортян, предполагая, что в чувашском *janax* 'подбородок', 'челюсть', 'косяк', вероятно, заимствовано из татарского 'щека' [Севортян, 1974, 285].

Почти аналогичное явление наблюдается и в ряде других языков мира. Л. Блумфилд пишет: «Значения "челюсть", "щека" и "подбородок", которые мы находим у слов, родственных английскому *chin* "подбородок", в других случаях, как было обнаружено, колеблются: например, у слова *cheek* от "челюсть" (древнеанглийское значение) до "щека" (современное значение); *jaw* "челюсть" — из франц. *joue* изменилось в противоположном направлении. Значение лат. *maxilla* "челюсть" изменилось в большинстве современных диалектов в "щека". Мы предполагаем, что слово *chin*, скорее всего, означало "челюсть" до того, как оно стало значить "щека" и "подбородок". Подтверждение этому предположению мы находим в древневерхненемецких глоссах, где латинское *molae* и *maxillae* (формы мн.ч. в значении "челюсть" или "челюсти") переводятся формой множественного числа *kinne*» [Блумфилд, 1968, 468—469]. Исходя из всего сказанного, можно предположить, что и в словах *äñ*, *äñäk*, *janax* значения прошли такой путь развития: '(нижняя) челюсть', 'подбородок', 'щека'.

Слово *saγ/čaγ* является многозначным: 'правильный', 'правдивый', 'правая сторона', 'здоровый' (*ärz eläjim bu sozümün, saγidır* 'я заявлю, и это мое правдивое слово'). Слово *saγ*, по мнению М. Рясенена, является заимствованным из персидского языка [Räsänen, 1969, 393], с чем нельзя согласиться хотя бы по той причине, что А.М. Щербак включает данное слово в список общетюркских односложных слов в двух фонетических вариантах: **säγ*, **saγ* [Щербак, 1970, 196]. Фонетический вариант слова *saγ* в форме *čaγ* нами зафиксирован лишь в одной азербайджанской фразеологической единице: *kejfi kök, damaγı čaγ* 'в хорошем расположении духа'. Первоначальным значением слова *saγ/čaγ* могло служить 'прямой', к которому восходят значе-

ния 'правильный', 'здоровый', 'удобный', 'удобная сторона', 'правая сторона'. Как *sol* в значении 'левая сторона' является антонимичным слову *saγ* в значении 'правая сторона', так же производное от *sol* слово *čolaq* 'калека' является антонимом слова *saγ* в значении 'здоровый'. Пожалуй, и в персидском языке в слове *rāst* значение 'правая сторона' развилось от значения 'прямой'.

Прозрачность корня, относительная устойчивость корневых и аффиксальных морфем на протяжении всей полуторатысячелетней письменной истории тюркских языков, многочисленные производные слова почти от всех корней и основ, проливающие нередко свет на лексико-семантическую судьбу последних, научная достоверность и неоспоримость законов межъязыковых соответствий, позволяющих воссоздать ясную картину первоначальной языковой общности, создают все соответствующие предпосылки, чтобы проблемы реконструкции на всех уровнях, в том числе на уровне лексики, на материале тюркских языков не только были поставлены, но и в определенной степени удачно решены. По признанию Э. Бенвениста, на материале индоевропейских языков "различие значений, а вместе с тем и трудности реконструкции достигают еще большей степени, когда формы распределяются по разным и грамматически несовместимым классам". В связи с этим Бенвенист приводит реконструкцию индоевропейского термина **pot(i)* со значениями 'начальник, глава' и частицы 'сам' [Бенвенист, 1974, 343—347]. И в тюркских языках встречаются случаи, когда формы также распределяются по разным грамматически несовместимым классам, однако реконструкции и в подобных случаях нередко не представляют особой трудности. История тюркских языков знает много случаев адвербиализации имен прилагательных и ряда глагольных форм; переход из наречий и особенно деепричастий в разряд имен прилагательных почти исключается. Слово *jaxšī* в значении 'хороший' употребляется более тысячелетия во многих тюркских языках. Данное слово, несомненно, образовалось от глагола взаимно-совместного залога *jaqšī-* 'подходить', 'нравиться'. Морфема *ī* в составе *jaqšī/jaxšī* восходит к деепричастному аффиксу *-i*. Следовательно, *jaqīšu > jaqšī > jaxšī* первоначально означало 'подходя', затем оно приобрело значение 'подходящее', от которого развилось и 'хороший'.

Наречие *jejin* 'быстро' азербайджанского языка, несомненно, образовалось от имени прилагательного *jej < jeg* 'хороший' с помощью аффикса инструментального падежа *-in*. Хотя на современном этапе развития азербайджанского языка вышли из употребления и слово *jej*, и афф. *-in*, тем не менее их реликты сохраняются в составе *jejin* 'быстрый, быстро', которое, по-видимому, первоначально имело значение 'хорошо'. Семантическая связь между значениями слов 'хороший' и 'быстрый' легко объяснима.

Исследования показывают, что во многих языках мира значения слов, выражающих психические явления, вторичны, они носят производный характер и чаще всего восходят к словам, репрезентировавшим физические явления: *anger* 'гнев' современного английского языка, например, восходит к латинскому *ang* 'узкий'. Имя существи-

тельное *envy* 'зависть' этимологически связано с лат. *invidia* < *in-vi-dere* 'видеть'. Пожалуй, и рус. *зависть* восходит к глаголу *videm* < *videre*. Слово *qaq*- 'злиться' и производное от него *qaqıy* 'гнев', которые встречаются в средневековых письменных памятниках, несомненно, восходят к *qaq* 'сухой', 'сухость'. Можно предположить, что первоначально либо слово *qaq* употреблялось и в значении 'зло', 'гнев', либо глагол *qaqı-* был многозначным и выражал 'злиться', 'гневаться' и, по-видимому, еще 'стать сухим'. Семантическая связь между 'гневаться' и 'стать сухим' мотивирована тем, что в психическом явлении разгневанности присутствие мышечного напряжения обязательно, ибо весь процесс разгневанности и злости ассоциируется с сухостью и твердостью. Эта идея подтверждается исключительно интересным фактом, зафиксированным в древнеазербайджанском эпосе "Книга моего деда Коркуда". Номинативное значение слова *saxt* в персидском языке — это 'твердый'. По-видимому, это слово проникло в азербайджанский язык до X—XI вв., ибо мы его нередко встречаем в упомянутом эпосе исключительно в сочетании с глаголом *ol-* (в значении 'сердиться, разгневаться', вероятно первоначально 'твердеть, стать твердым').

Общетюркский глагол *qaq-* означает 'ударять (сверху)', 'бить (по голове)', 'стучать'. Производное *qaqın* 'упрек', несомненно, восходит к этому глаголу. Слово *qaqın* в значении 'упрек' зафиксировано во всех письменных памятниках азербайджанского и турецкого языков. Примечателен и тот факт, что слово *qaqın* всюду употребляется в сочетании со словом *baş* 'голова'.

Общетюркское *aşıy* первоначально имело значение 'горький'. В огузских языках, вероятно, к концу I тысячелетия н.э. это слово фонетически было расщеплено на самостоятельные слова *aşı* и *aşıy*, которые соответственно означают 'горький' и 'гнев'. Понятно, что второе значение является производным, вторичным.

Нередки случаи, когда переход физического в психическое бывает связан со словообразующими аффиксами. Очевидно, что глаголы *darıq-* 'скучать, беспокоиться', *darıl-* и *darın-* 'сердиться', 'спорить' образовались от имени прилагательного *dar* < *tar* 'узкий, тесный'. По-видимому, последнее под влиянием значения образовавшихся от него глаголов позже приобретает еще значение 'скорбь, тоска, скука' (см. также *darıqdır* 'скучный').

Глагол *sıq-* со значением 'давить, выжимать' зафиксирован во многих средневековых письменных памятниках. Производные от данного глагола слова типа *sıqıl-* 'тосковать, скучать', *sıqıntı* 'тоска, скука, грусть', а также парно-повторный глагол *sıq-taq-* 'угнетать' позволяют предполагать, что на определенном этапе развития языка производными значениями глагола *sıq-* были 'гнет', 'тоска, скука', первоначально же он синкретически обозначал: 'давка', 'жать', 'сузить', 'давить', 'узкий', 'тесный'; *-q* в составе *sıq-* является грамматическим формантом. Следовательно, глагольно-именная основа могла образоваться от *sı-*, который сохранился в составе и другого глагола — *sız-* 'просочиться'. В связи с тем, что между значениями глаголов *sıq-* и *sız-* мы обнаруживаем причинно-следственные связи, смело можно

предполагать о происхождении их из одного и того же корня. Если идти еще дальше и глагол *süz-* 'цедить' семантически связать с глаголами *siq-* и *siz-*, что вполне вероятно ввиду их семантической близости, то корневой морфемой этих глаголов в прототюркскую эпоху следует принять **sV-* со значениями 'сузить, цедить, просачивать(ся)' и соответствующие имена существительные.

В "Книге моего деда Коркуда" нередко встречается глагол *jaγmala-* 'грабить'. Э.В. Севортян при рассмотрении глаголов с афф. *-mala-* отмечает, что *-mala-* является сложным аффиксом, состоящим из *-ma-* и *-la-*; как первый, так и второй аффикс выражает учащательное значение [Севортян, 1962, 352—354]. К этому следует добавить, что во всех случаях между основой и производным от нее с помощью афф. *-mala-* глаголом обнаруживается определенная семантическая связь. Ср., например: *qarmala-* 'захватывать', 'цепляться' = *qar* 'схватывать'; *sürt-* 'тереть' = *sürtmälä-* 'обтирать'; *düg-* 'завязать в узел' = *dügmälä-* 'застегивать'. Отсюда напрашивается вывод о том, что не только *jaγmala-*, но и его основа некогда употреблялась самостоятельно и также имела значение 'грабить'. Как слово *dügmä* (первоначально 'узел', затем 'пуговица') образуется от глагола *düg-*, так и *jaγma* 'грабеж' восходит к глаголу *jaγ-* 'грабить'. Следует отметить, что общетюркский глагол *jar-* наряду со своим общеизвестным значением 'расщеплять, рассекать, рубить' имеет в азербайджанском языке и значение 'грабить (дом)'.

Этимологически фонетическим вариантом глагола *jar-* может быть и *jir-/tir-* 'рассекать', 'разрывать'. По-видимому, и прежний глагол *tıl-* 'разрезать ломтиками' восходит к тому же корню, что и *jir-/ir-*, с одной стороны, и *jar-* — с другой.

М. Ряснен отмечает следующие значения глагола *tala-*: 'грабить', 'разорять', 'разрушать', 'разорвать', 'растерзать', 'кусать'. В тюркских языках имеется и глагол *tar-* со значениями 'распускать', 'разгонять', 'рассеивать'. Производные имена существительные от глаголов *tar-* и *tal(a)-* в формах *tārāž* и *tārāš* мы встречаем в персидском языке со значением 'грабеж, ограбление'. (О проникновении слов *tārāž* и *tārāš* в персидский язык задолго до X в. свидетельствует неоднократное их употребление во всемирно известном произведении Фирдоуси "Шахнамэ".) Этот факт позволяет прийти к выводу о том, что глагол *tar-* некогда имел и значение 'грабить'. В современном азербайджанском языке имеется парно-повторное слово *darmadaγın* 'вдребезги', 'в пух и прах', которое состоит из двух основ: *darma* и *daγın*. Ни одно из этих слов в современном азербайджанском языке самостоятельно не употребляется, но они, несомненно, являются производными от древнейших глагольных основ *dar-* < *tar-* и *daγ-* < *taγ-* со значениями 'уничтожать, разрушать, разорять, рассеивать'. У нас есть все основания предполагать, что как глаголы *tar-*, *taγ-*, так и глагол *tal(a)-* этимологически восходят к корню **iā-*, который первоначально мог иметь значения 'рассеивать', 'разбрасывать', 'рассекать'. Эти же значения, по-видимому, были присущи первоначально глаголам *tar-*, *taγ-* и *tal(a)-*. На базе этих значений хронологически развились следующие значения: *tar-/taγ-* 'разрушать, рассеивать' > 'грабить'; *tal(a)-*

'разрушать' > 'грабить' > 'кромсать' > 'грызть' > 'кусать' // 'обжигать (кожу) — о бешеных собаках и о травах из семейства крапивных'.

Глаголы *çal-* и *çar-* в современном азербайджанском языке относятся к разряду многозначных глаголов. Достаточно отметить, что Ш.Сами установил около 20 значений глагола *çal-* в турецком языке. В современных словарях зафиксировано несколько омонимичных значений как глагола *çal-*, так и глагола *çar-*. Нам кажется, что все омонимичные значения глаголов *çal-* и *çar-* возникли путем распада полисемии. Если глаголы *çal-* и *çar-* употребляются в речи параллельно, то они, как правило, выражают одно конкретное значение — 'грабить'. Исходя из звукосоответствия $j \sim t/d \sim \check{c}$, а также близости лексического значения рассматриваемых выше слов, мы предполагаем, что *jar-*, *jaγ-*, *tar-*, *taγ-*, *tal(a)*, *çal-*, *çar-*, а также *jir-/tir-*, *til-* восходят к одному и тому же пратюркскому корню $j\check{V}$ или $*t\check{V}$ и первоначальное значение предполагаемого корня можно реконструировать так: 'рассекать', 'разделить', 'взять себе часть путем деления', из которых развилось значение 'грабить'. Теперь мы можем высказать предположение о том, что и слова *jaγi* 'враг', *jad* < *jat* 'чужой' также связаны с корнем рассмотренных глаголов.

Глагол *aj* 'стать трезвым, делать трезвым' не зафиксирован ни в одном из существующих этимологических словарей, хотя он встречается в данном значении в средневековых письменных источниках. Достаточно привести пример из "Дивана" К. Бурханаддина:

Jüz *žadulux qilur, sänäma, ajä gözlärün,*
Bän umaramki, jäh'ni bänä *ajägözlärün.*

'О, любимая, твои глаза свершают сотни колдовств луне,
Я надеюсь, что твои глаза сделают меня трезвым'.

Э.В. Севортян в словарной статье *ajaz* отмечает пол звездочкой, что **aj-* означает 'стать ясным, проясниться' [Севортян, 1962, 102—103], в статье же *ajiq-* зафиксированы значения 'прийти в сознание, прийти в себя', 'очнуться' [там же, 113]. Можно предположить, что глагол *aj-* является фонетическим вариантом общетюркского глагола *aç-*. Значение 'стать ясным, проясняться' глагол *aç-* сохранил в словосочетаниях *hava açil-* 'стать ясным (о погоде)', *açiq hava* 'ясная погода', *sähär açil-* 'наступить (об утре)', *baši açil-* 'находить свободное от работы время' (досл.: 'открываться чьей-то голове'). Следовательно, глагол *aç/aj-* первоначально мог иметь значение 'открывать, раскрывать', от которого образовались, по-видимому, и вторичные значения, т.е. 'делать ясным, прояснять', 'делать трезвым'.

К многозначным словам относится также слово *kök* 'основа', 'корень', 'морковь', 'полный, жирный (о человеке и животных)'. В течение двух тысячелетий фонетический облик данного слова не изменился. Исходя из того факта, что два первых звука в словах *göt* 'основа', 'anus' (ср. несомненно производное от него *kötük* 'пень') и *kök* полностью совпадают и в значениях этих слов обнаруживается семантическая близость, мы предполагаем, что они восходят к одной и той же корневой морфеме. По этой причине вряд ли можно согласиться с Э.В. Севортианом, когда он квалифицирует 'базис, основание' как

переносные значения при рассмотрении слова *gæt* [Севортян, 1980, 85]. Условно представляя архетип рассматриваемых слов в форме **kō̃*; мы предполагаем, что в прототюркском он мог иметь значение 'основа, на которой держится любой предмет'. От этого значения в слове *kōk* затем развивается 'корень', позже по аналогии с ним образуется и значение 'морковь', а также переносное значение *kōk* 'полный, тучный, жирный'. Значения 'зад, седалище, гузка', 'туловище', 'утроба' и 'пень', которые имеют соответственно слова *gōt*, *gōvdā*, *gōdān*, *kōtūk*, также восходят к значению 'основа', которое репрезентировала древнейшая корневая морфема **kō̃*.

Итак, на основе рассмотренных выше примеров, мы приходим к выводу о том, что при реконструктивных исследованиях на лексическом уровне в целях воссоздания доисторической лексико-семантической картины отдельного языка или праязыка той или иной семьи языков следует систематически опираться на общие законы человеческого мышления, ибо лексико-семантическое развитие слов, как правило, протекает в соответствии с законами мышления. Так как целью реконструкции на всех уровнях языка является "установление относительной хронологии доисторических состояний и изменений, непосредственно предшествующих самым древним данным" [Курилович, 1965, 400], большое значение имеет точное отражение регулярной преемственности семантических сдвигов. Следует признать, что наиболее сложным вопросом при реконструкции на лексическом уровне является вопрос об определении первичного значения, ибо, как справедливо отмечал Б.А. Серебренников, "восстанавливая архаические значения слов, следует постоянно иметь в виду, что понятия древних людей могли не совпадать полностью со сходными понятиями современных людей" [Серебренников, 1973, 63]. И в самом деле, как речемыслительный процесс, так и восприятие внешнего мира, находящее свое выражение в речи, меняются от поколения к поколению. По этой причине нередко бывает затруднительным установление первичного и вторичного значений тех или иных слов. И не случайно то, что во многих этимологических словарях мы сталкиваемся с заявлениями типа: "какому глаголу в генезисе принадлежат эти значения — *да: ла- ~ тала-* 'грызть', 'рвать' или *та: ла- ~ тала-* 'грабить', сказать трудно" [Севортян, 1980, 136], или: "...для установления семантики названного существительного необходимых данных в материалах не имеется" [там же, 137]. В связи с этим уместно привести здесь слова Э.А. Макаева о том, что «в превосходном "Латинском этимологическом словаре" А. Эрну и А. Мейе количество "надежных" латинских этимологий было сужено до минимума, а количество помет "этимология неясна" настолько возросло, что собственно этимологический словарь латинского языка серьезно угрожал превратиться в исторический» [Макаев, 1970, 32—33]. И хорошо известно, что все этимологические словари, независимо от их научной ценности и достоверности представленных в них этимологий, пестрят вопросительными знаками, свидетельствующими о том, что не все тайны языкового развития подвластны научной интерпретации даже самого талантливого лингвиста.

При установлении первичных значений слов следует иметь в виду, что слова, выражающие пространственные отношения, должны были лежать в основе слов, обозначающих любые другие отношения; все односложные и некоторые двусложные слова, называющие основные части тела или выражающие родственные отношения, должны быть квалифицированы как древнейшие. Реконструкция, предполагающая восстановление архаического значения слова, требует определения прежде всего эпохи распада языковой общности, рода занятий, жизненного уклада, характера общественных отношений, образа мышления древних носителей исследуемого языка, их прародины, той географической среды, в которой они жили. При реконструировании первичного значения слов на материале тюркских языков следует также иметь в виду кочевой образ жизни древнетюркских племен, их воинственный дух, нашедший отражение как в эпосах тюркоязычных народов, так и в древних письменных источниках, их занятие скотоводством, охотой и т.д. Кроме того, необходимо учитывать их миропонимание и мироощущение (ср. *иш* — первоначально не только 'летать', но и 'умирать', откуда несложно определить, по какой причине *иштаг* в древнетюркском — это 'рай'). И вполне понятно, что в прототюркском должно было функционировать множество имен существительных терминологического характера, связанных с кочевым образом жизни, охотой, скотоводством, военными действиями, а также разнообразных глаголов, обозначающих соответствующие действия.

До тех пор, пока четко не разработана методика установления архаичных значений слов, принципов преемственности значений, соотношения собственно лингвистических и экстралингвистических факторов в сужении и расширении значения, в трансформации значений реконструкция на лексическом уровне может дать положительные результаты, если исследуются слова, входящие в одни и те же семантические разряды, как это мы видим в работах А.А. Уфимцевой "Опыт изучения лексики как системы" (М., 1962) и О.Н. Трубачева "Ремесленная терминология в славянских языках (этимология и опыт групповой реконструкции)" (М., 1966).

Реконструкция в принципе может быть оценена как результат тех процессов, действительность которых устанавливается на основе гипотез, не поддающихся проверке. Поэтому любая реконструкция носит вероятностный характер. И чтобы выдвинутая гипотеза была ближе к научной истине, необходимо на основе тщательного анализа конкретных языковых данных реконструировать системный характер языковых изменений, не только вызванных чисто языковыми причинами, но и обусловленных экстралингвистическими факторами в полном соответствии с общими законами речевого мышления.

ПРОБЛЕМЫ РЕКОНСТРУКЦИИ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО ПОЭТИЧЕСКОГО ЯЗЫКА

Наука об индоевропейском поэтическом языке зародилась в недрах сравнительной мифологии и оформилась в особую отрасль науки об индоевропейских древностях, ориентированную на изучение структуры поэтического праязыка.

Филологи, стоявшие у истоков этой науки (А. Кун, Я. Гримм, Дж. Дармстетер и др.), собрали интересный материал, который они были склонны считать индоевропейским по своему происхождению. Сочетания типа греч. κλέος ἄφθιτον ~ вед. *śrávaḥ dṛṣitam* 'нетленная слава', греч. μέγα κλέος ~ вед. *māhi śrávaḥ* 'великая слава' и т.п., признавались индоевропейскими уже на том основании, что они вполне соответствовали установленным фонетическим корреспонденциям. Нельзя, однако, игнорировать то обстоятельство, что фонетические законы никак не связаны с существованием в индоевропейское время поэзии и соответственно поэтического языка. Реконструируемые словосочетания могут служить материалом для изучения синтаксиса праязыка, но как таковые не обязательно должны входить в состав поэтического словаря. В этом случае мы имеем дело с явлением, причины которого лежат вне языка. Реконструкция культуры, в данном случае поэтической, обоснована, если опирается на значение-сигнификат [Benveniste, 1970].

Реконструкция такого рода отличается от реконструкции языковых единиц типа морфемы, и, следовательно, должна включать некоторое число приемов и способов верификации.

Одним из основных принципов установления генетического тождества, например, словосочетаний, засвидетельствованных в текстах на древних индоевропейских языках, является требование независимости культурных (поэтических) традиций. Это требование безусловно выполняется в случае индо-кельтских сходжений. Независимость гомеровского текста по отношению к Ведам также не вызывает серьезных сомнений, но влияние римской культуры на кельтов и германцев нельзя не учитывать. Кроме возможного взаимовлияния традиций, включая заимствования, следует рассмотреть ряд в известной мере взаимосвязанных вопросов.

Прежде всего — это вопрос о минимальном достаточном числе языков, на основе которых реконструируется тот или иной элемент поэтической системы.

Значительное число формул индоевропейского поэтического языка реконструируется на основании сопоставления греческого материала с древнеиндийским, в чем усматривают одно из слабых мест концепции: "Старое правило Мейе, что для сравнительно-исторической реконструкции нужно согласное свидетельство по крайней мере трех самостоятельных ветвей, может быть, слишком механистично, и трех ветвей иногда бывает мало, тем более опрометчивым представляется восстановление на основе показания только двух ветвей, а это именно то, что предлагают делать сторонники индоевропейского поэтического языка" [Тронский, 1973, 151].

Вероятность случайных совпадений действительно не исключена, и с этим нужно считаться. Действительно, почему не может быть случайностью этимологическое совпадение компонентов такого тривиального словосочетания, как 'великая слава', при наличии в обеих ветвях (языках) лексем **meg(h)ə/ŋ* и **kleues-* (греч. μέγα κλέος ~ вед. *māha śrávah*)? В подобных случаях верификация может осуществляться за счет поисков дополнительных аргументов. К числу таковых относится принцип системности. П. Тиме [Thieme, 1964, 593] показал, что правомерно восстанавливать значение 'шерсть' для индоевропейского слова **ulnā*, ибо вполне надежно реконструируются общиндоевропейское название 'овцы' — **ouis*, а также глаголы 'ткать' — **webh-*, **teks-*. Тем самым слово **ulnā* 'шерсть' оказывается включенным в группу лексем, обозначающих этапы обработки продуктов скотоводства. Аналогичным образом можно показать, что словосочетание **meg(h)ŋ *kleues-* не является изолированным, но входит в круг выражений формульного типа, отражающих определенную поэтическую практику и стоящие за ней идеологические представления. Реконструируются разнообразные словосочетания, например адъективные **kleues- ŋdhg^hhitom* 'нетленная слава', генитивные **kleues- nerōt* 'слава мужей' с противопоставлением первых компонентов композитов **uesu-/su-kleues-: *dus-kleues-* 'добрая слава': 'дурная слава' и т.п.

С другой стороны, вопрос о минимальном достаточном числе языков необходимо, в определенных условиях, рассматривать в связи с лингвогеографическим тезисом о сохранении архаизмов в периферийных зонах языковой области. Ж. Вандриес первым предпринял систематическое сравнение кельтского и итальянского материала с индоиранским [Vendryes, 1918]. Подавляющая часть сравниваемых лексем относится к сакрально-поэтической и правовой сферам. Дальнейшие исследования в этой области (К. Уоткинс, Э. Хэмп, М. Диллон и др.) подтвердили (сделанные Ж. Вандриесом с большой осторожностью) выводы о сохранении глубоких архаизмов в названных языках. Эта идея оправдывает проецирование на праязыковой уровень реликтовых явлений, засвидетельствованных в противоположных областях индоевропейского мира. Число сравниваемых языков в данном случае может быть предельно ограниченным, ибо едва ли можно надеяться, что раритеты будут рассеяны по всей территории, занятой индоевропейскими языками. Конечно, в каждом случае подход должен быть индивидуальным. Иногда появление нового материала и интерпретация с иной точки зрения уже известного подтверждают выводы, сделанные на весьма ограниченном материале маргинальных языков. Примером может служить индоевропейский корень **reg-*, давший важный социальный термин, отраженный в лат. *rex*, др.-ирл. *rí*, др.-инд. *rāj-* 'король'. Славянские языки, утратившие этот термин, сохранили ряд производных, свидетельствующих об их соотнесенности с ритуалом инаугурации правителя и концептом царской власти [Топоров, 1974, 12], и тем самым дают дополнительный аргумент в пользу реконструкции значения соответствующего индоевропейского слова, сделанной на базе маргинальных языков. Рефлексы этого слова в терминологическом значении были

позднее обнаружены во фракийском $\text{P}\rho\sigma\sigma$ [Нерозник, 1978, 16] и в иранских языках (хот.-сак. *rraša*).

В методическом отношении важно найти подтверждение результатов внешнего сравнения внутри данной лингвокультурной традиции, что можно продемонстрировать на материале ирландской традиции.

Об архаичности и консервативности ирландского языка и культуры уже неоднократно писалось [Dillon, 1975]. Римские легионы не высаживались в Ирландии, и романизация, имевшая для Британии и Галлии серьезные последствия, не коснулась Ирландии. Будучи в стороне от путей, по которым шло великое переселение народов, и от главных центров европейской цивилизации, Ирландия продолжала жить по старинке. Даже по сравнению с континентальными кельтами ирландцы были крайне консервативны. Христианство в Ирландии наложилось на позднелатенскую культуру, которая исчезла на континенте почти на полтысячелетия раньше [Kruta, 1976]. Крещение Ирландии было первым этапом ее вовлечения в круговорот европейской истории. Для социальной и культурной жизни страны это имело большое значение и вызвало существенные перемены в традиционном укладе. Одним из следствий христианизации было исчезновение друидов, место которых в социальной иерархии занимают филиды. Вероятно, филиды унаследовали не только некоторые функции своих предшественников, но и какие-то элементы древней поэтики. Поэтому важным моментом в оценке текста являются его лингвостилистические характеристики. В этом отношении актуально установление списка наиболее существенных стилистических особенностей и приемов для каждого периода. Речь идет не только о традиционных эпитетах, но и о грамматических явлениях, сохраняемых поэзией от предшествующих эпох. Отмечавшаяся тенденция к консервативности заставляет быть осторожным. Можно привести такой довольно показательный пример. Союз *sceo*, являющийся одним из самых наглядных показателей архаичности, встречается в поэмах, написанных на "языке поэтов" (*bérla na filed*) около XV в.: *ruire iulgach sceo bergmborb* 'король-воин и жестокий разбойник'. Сильная архаизация этих поэм очевидна. Они насыщены большим числом устаревших слов, передававшихся в поэтической среде от поколения к поколению через школы.

Весьма перспективным представляется подход К. Уоткинса к реконструкции формул на уровне лингвистических структур. Уоткинс исходит из того, что "лексические замены и изменения в культуре на протяжении тысячелетий могут оставить лишь семантическую структуру первоначальной конструкции; мы имеем сохранение обозначаемого (и связанный с ним культурный нексус) при обновлении обозначающего" [Watkins, 1979, 182]. Формула процедуры инаугурации ирландского короля: *Is tre fír flathemon...* 'истиной правителя...' — представляется в виде $S [is\ tre\ fír\ (flathemon)\ S\ [NP + VP]S]S$ и сравнивается со структурой аналогичных формул в других индоевропейских традициях; в результате реконструируется индоевропейская модель: $S [TRUTH_{instr}\ [sNP + NP/VP]S]S$ [Watkins, 1979, 189]. Примером устойчивости формульной схемы может служить христиани-

зированное выражение *forcetal recto Dée* 'учение закону божьему' (Cambrai Hom. 38'), в котором воспроизводится формула из ритуала инаугурации короля *forcetal fórechto* 'учение хорошему (истинному) закону' (Audacht Morainn 24).

Принцип, сформулированный К. Уоткинсом, имеет важное значение как шаг на пути к разработке процедуры внутренней реконструкции поэтической традиции.

Скептическое отношение некоторых исследователей к возможности реконструировать поэтический язык индоевропейцев в известной мере оправданно и психологически понятно, но их доводы едва ли можно считать неотразимыми. Упрек в том, что реконструируемые понятия из области индоевропейской поэтической традиции "очень общие и не обладают такими характеристиками, по которым их можно было бы с уверенностью отнести к той, а не другой культуре, к той, а не другой этнической среде" [Albano Leoni, 1968, 126—127], справедлив лишь в том случае, если считать индоевропейскую культуру чем-то уникальным. Действительно, существование традиции обмена дарами или понятия славы как краеугольного камня данной культуры встречаются и у многих других народов. Этот факт можно истолковать в пользу индоевропейского поэтического языка, ибо сходные социально-экономические условия могут порождать и сходные идеологические представления. Вхождение индоевропейской культуры в этот весьма обширный круг культур не выглядит чем-то невероятным, а реальность отнесения на индоевропейский уровень таких понятий (а следовательно, и их языкового выражения), как "слава", или ритуал дарения подтверждаются тем, что удается реконструировать не изолированные словосочетания, но целые комплексы формул и мотивов.

В дополнение к уже приводившемуся материалу можно сослаться на ирландский эквивалент гомеровского мотива предпочтения славы долгой жизни (Илиада 9, 413—415): *ní nassar mo chlú ar cher* 'да не погибнет моя слава ради смерти' (т.е. 'из моего страха перед смертью') [Watkins, 1976, 217; Meyer, 1917, 191]. Одним из ключевых понятий этого мотива является сочетание 'долгая жизнь', засвидетельствованное в вед. *dirghám áyuh*, авест. *darəgəm āiīu*, греч. гом. (ἐπὶ) δηρόν αἰών, др.-ирл. *āesmar* (последние с синонимической заменой прилагательного). Интересно, что цитированная выше строка из древнеирландского стихотворения относится к так называемому *cēinath n-aisse* 'заклинание о долгой жизни', приписываемому традицией аббату Ферфио (ум. 762 г.). Заклинание начинается обращением к девам, прядущим судьбы:

Admuiniur secht n-ingena
dolbte snáithi macc n-āesmar

'взываю к семи дочерям, прядущим нити сыновей долгой жизни'.

Изложенное подтверждает, что различные формульные сочетания с **klewes-*, равно как и архетип вед. *dirghám áyuh*, составляют часть единого семантического блока, отражающего основные морально-этические понятия индоевропейского общества и входящего в определенную систему — поэтический лексикон индоевропейской традиции.

Реконструкция поэтических фразеологизмов находит поддержку в теории Пэрри—Лорда, суть которой состоит в том, что поэтические тексты в бесписьменных культурах отчасти монтируются из уже готовых формул, которые сказитель не создает заново, но заучивает, перенимая их у своего предшественника. После первых публикаций М. Пэрри появилась обширная литература по технике устной поэзии самых различных народов. Одним из основных выводов этих исследований было установление связи и взаимообусловленности метрики стиха и формулы-клише и отсутствие жесткой фиксированности структуры формулы.

Открылась возможность реконструировать не только метрические схемы индоевропейского стиха (начало этому направлению положил А. Мейе, вероятно под влиянием переписки с Ф. де Соссюром [Meillet, 1923]), но и их лексическое наполнение.

Значительный перевес греко-арийских формульных соответствий по сравнению с остальным индоевропейским миром может указывать на существование некоей особой зоны в позднеиндоевропейском языке или, что более правдоподобно, после его распада [Иванов, 1980, 59]. Именно для греко-арийской удастся получить наиболее надежные из имеющихся метрические реконструкции.

В отношении других ареалов вопрос о реконструкции формул нужно рассматривать, по-видимому, несколько иначе. В случае маргинальных изоглосс, охватывающих, скажем, итальянский, кельтский и индоиранский ареалы, речь скорее всего может идти о сохранении архаизмов индоевропейского времени (конечно, при допущении, что сняты случайные совпадения и эффекты параллельного развития), причем не исключено, что разных хронологических пластов. Действительно, маргинальные формульные соответствия, представленные, к примеру, в монографии Р. Шмитта [Schmitt, 1967], ограничиваются довольно банальными и, что весьма важно, малочисленными сочетаниями типа др.-инд. *su-śravas-* ~ др.-ирл. *sochlu* 'добрая слава' (при отсутствии этимологического эквивалента в итальянских языках), др.-ирл. *fó clu* 'то же', др.-инд. *vásu-śravas-* 'то же'. Нередко такое сочетание встречается и в других языках, как, например, в первом случае, когда в греческом засвидетельствованы различные производные: *εὐκλεία/εὐκλείη*, *Ἐυκλείος* и др. Реконструкция метрики, которая удовлетворяла бы показаниям языков, находящихся на окраинах индоевропейской языковой области, наталкивается на многочисленные трудности. Если обратиться к кельтскому материалу, привлекаемому для реконструкции индоевропейской метрики, то необходимо иметь в виду ряд обстоятельств.

Известно, что метрика, использовавшаяся в классический древнеирландский период, т.е. во времена составления глосс, возникла довольно поздно, во всяком случае в первой четверти VIII в. еще употребительна была старая система. Именно эта система стихосложения и оказалась камнем преткновения для ирландского стиховедения. Поскольку рукописи VI—VII вв. не сохранились, тексты, которые по лингвистическим, а иногда и по другим критериям можно датировать этим периодом, дошли до нас в значительно более

поздних источниках (как правило, XII—XV вв.) с многочисленными, порой трудно обнаруживаемыми, изменениями. В связи с этим текстология приобретает особую актуальность, а так как современный исследователь имеет дело лишь с поздними копиями архаических текстов, то, следовательно, необходимо проявлять большую осторожность, привлекая архаический ирландский материал. Попытки выявить основные принципы построения архаического ирландского стиха сталкивались прежде всего именно с проблемой правильного прочтения текста рукописи. Опыт К. Уоткинса [Watkins, 1963] несколько двусмыслен. Как справедливо отметил Э. Кампаниле [Campanile, 1979], если семисложные стихи квалифицируются К. Уоткинсом как архаические, то, по всей видимости, их следует считать древнее V в., но несложная трансформация стиха в "досинкопированное" состояние показывает, что в этом случае число слогов в строке намного больше семи: *ó modaib marc mrogsaite > *au modobis markom rogassontijo*.

Если допустить, что Уоткинс имел в виду лишь сохранность метрической схемы стиха, скажем, семисложник с определенной акцентной моделью, то все равно остается не совсем понятным, почему для языка с большим количеством многосложных слов одной из базовых является семисложная строка: либо стих будет состоять из одного-двух слов, либо поэтический словарь будет состоять по преимуществу из коротких слов, что резко ограничило бы его состав. Можно, конечно, предположить, что пяти-, семисложные строки занимали периферийное положение в протоирландской версификации и после проведения синкопы и апокопы, сокративших объем ирландского слова, стали ведущими. Такие предположения при всей их вероятности и допустимости практически недоказуемы, по меньшей мере в настоящее время.

Тип стихосложения не связан тесно с системой языка, о чем может свидетельствовать история русского стиха: силлабические вирши XVII в. были заменены силлаботоникой без кардинальных изменений в языке. Все-таки среднестатистическая длина слова в той или иной мере учитывается стихосложением. Короткосложные строки могут допускать умышленные пропуски ударений-иктов либо использовать лексику, вписывающуюся в размеры строки, тем самым очерчивая круг словарных единиц, употребляемых в данном жанре.

Процессы сокращения или удлинения средних размеров слова должны были отразиться и на традиционных формулах. В этом смысле показателен "мысленный" эксперимент В.Мейда [Meid, 1977, 81—82]. Строка 'идет снег' в архаическом индоевропейском выглядела бы двусложной — **sneig^{wh}t snig^{wh}s*, позднее — **sneig^{wh}ti snig^{wh}s*, т.е. трехсложной, а после тематизации флексий и регуляризации аблаута — **sneig^{wh}eti snoig^{wh}os*, т.е. пятисложной. В древнеирландском эта строка приобретает вид *snigid ga(i)m* (три слога). Естественно, метрические характеристики этой "формулы" различны. Большая сохранность формульного инвентаря в греко-арийском ареале в какой-то мере может объясняться меньшими просодическими изменениями, имевшими место в этих языках по сравнению с кельтскими или гер-

манскими. Кроме того, отсутствие формул в кельтской традиции может объясняться и тем, что в ней отражена более ранняя ступень индоевропейской традиции, возможно с иным типом организации поэтической речи — "достиховым".

Попытки реконструировать "прастих" сводятся, собственно говоря, к поиску такого принципа организации текста, который наилучшим образом смог бы заменить классическую метрику. Поэтическая речь по определению должна отличаться от прозаической. Эти отличия могут существовать на любых языковых уровнях, но наиболее наглядно они обычно проявляются в фонетике и лексике.

На фонетическом уровне ведущим принципом может быть повторяемость, проявления которой могут быть различны. Споры о существовании аллитерирующего стиха в индоевропейской поэзии продлятся, по-видимому, еще долго [Schmitt, 1967, 264], но, очевидно, уже сейчас можно утверждать, что аллитерационный принцип применялся не в таких масштабах и не столь строго, как в древнеирландской поэзии VI — начала VIII в. На возможность аллитерационного стиха в индоевропейском указывает реконструкция нефонологического начального ударения [Герценберг, 1981, 61]. Внушительное количество этимологических фигур в древних индоевропейских языках, многие из которых реконструируются на праязыковом уровне, например **uekʰos uekʰ-* 'слово сказать', также свидетельствует об использовании повторов инициалей как элемента поэтической техники.

Если аллитерация охватывает лишь согласные инициалы начальных слогов, то сфера действия другого вида фонетических повторов — консонансов, — шире. Она может распространяться на согласные любых слогов. Использование этого средства приводит к созданию стихов с чрезвычайно высокой степенью насыщенности звуковыми эффектами. Ф. де Соссюр установил, что в сатурновом стихе практически любая фонема повторяется [Wunderli, 1972, 16]. Аналогичное правило действовало и в древнеирландской доклассической поэзии. Проиллюстрировать его можно фрагментом поэтической генеалогии VII в.:

Ardu déib doín,	'Человек, стоящий выше богов,
dron daurgráinne,	твердый дубовый желудь,
glan gablach	сверкающий, богатый наследниками
aue Luirc Lóiguire.	внук Лойгаре Лорка'.

В приведенной строфе нет одиночных фонем. Кроме того, обыгрываются различные комбинации согласных: *r~d* первой строки "перевернуто" во второй *d~r*, *g~l* третьей строки также "перевернуто": *l~g* в *Lóiguire*.

Одним из следствий фонетических повторов является паронимасия. Нередко в этом качестве в древнеирландской поэзии выступает эпитет при имени собственном: *Feredach ferán* 'Фередах, блестящий муж'; иногда таким образом связываются имя и глагол: *Ailill Glass glansus* 'Айлил Глас очистил ее'. Обыгрывание паронимов принадлежит к числу наиболее типичных явлений не только древнеирландской поэтики. В каждой традиции использовались особенности фонетической

структуры слова, а также ряд специальных приемов, которые облегчали манипулирование лексикой с целью создания требуемых эффектов.

Консонантная техника лежит в основе анаграмматического принципа построения стиха. В анаграмматическом стиле имя адресата прямо не называется, но шифруется, т.е. фигурирует в виде составляющих его фонем или слогов. Классическими образцами анаграмматической поэзии являются надписи на надгробиях Сципионов и гимн богине Речи, проанализированные Ф. де Соссюром и В.Н. Топоровым [Соссюр, 1977, 639—645; Топоров, 1965, 318; Елизаренкова, Топоров, 1979, 63 и след.].

Задача построить текст, удовлетворяющий в фонетическом отношении требованиям существующей поэтики, накладывает определенные ограничения на словарь. Выше уже приходилось говорить о паронимии. Обилие синонимов, отмечаемое для всех древних индоевропейских традиций, отчасти объяснимо фонетически, так как, допустим, фонемный состав эпитета должен корреспондировать с фонемным составом определяемого имени и т.п., что создает необходимость иметь достаточно широкий выбор. С другой стороны, ономастические особенности древних индоевропейских языков позволяли один денотат обозначать несколькими различными именами [Елизаренкова, Топоров, 1979, 43]. Так, для понятия "благородный" в древнеирландских генеалогических поэмах используется около десятка прилагательных, большая часть употреблений которых обязана фонетическому облику окружающих слов и во всех случаях эти слова (*úais*, *flal*, *nár* и т.д.) тесно связаны фонетически со своим окружением.

Состав поэтического словаря в древних индоевропейских поэтических традициях указывает на стремление отделить поэтическую речь от прозаической. По-видимому, одним из основных источников формирования поэтического лексикона является использование архаизмов. Сохранению архаизмов способствовал не только общий дух консервативности, присущий поэзии, но и передаваемые по традиции клише, приходившиеся "к месту" в стихе. Другим источником является заимствование из соседнего диалекта или из другого языка.

Идея об искусственном создании "поэтизмов" посредством расчленения или перестановки элементов слова заслуживает самого тщательного рассмотрения на широком материале. Позволим здесь сделать лишь небольшую оговорку. Инверсия слогов/фонем в слове, его расчленение и помещение во внутрь его звуков характерны для развитых традиций, имеющих значительный опыт "филологической" работы с языком. Крайности в употреблении способов "затемнения" смысла свойственны традициям с ярко выраженной эзотеричностью или находящимся в стадии упадка. Если оставаться в рамках древнеирландской традиции, то можно сказать, что большинство процедур "деформации" слов, применяемых филидами, находит объяснение в истории языка (тмеси́с, инфиксация местоимений в глагольный комплекс и т.п.) и лишь немногие обязаны практике магии слова (инверсия фонем и др.) или не получили объяснения [Калыгин, 1986]. Ж. Вандриесом [Vendryes, 1952, 201—205] было высказано предположе-

ние о наличии "деформации" слов в индоевропейском языке. В качестве примеров приводились др.-инд. *ajáh, ajā* 'коза' ~ ст.-слав. КОЗА (с преформантом *k-*) с чередующимися начальными согласными ('сердце': **krd-* ~ **ghrd-*), инвертированные слова и т.п. Как бы ни интерпретировались слова с преформантами (реликт приставок или заимствование), они могли стать источником формирования определенной группы лексики с какими-то стилистическими (функциональными) особенностями.

В синтаксическом отношении язык поэзии тяготеет к повторяющимся конструкциям. Характерной чертой является употребление параллельных конструкций (предложений). Параллелизмы встречаются не только в индоевропейских традициях, как известно. Вероятно, это один из самых простых способов семантико-синтаксического повтора.

В наиболее консервативных видах древней словесности (магико-инкантационная, дидактико-правовая и т.п.) ритмообразующую функцию выполняют синтаксические параллелизмы, реализующиеся либо как серия независимых предложений, либо как серия однородных членов или синтагм типа *Zwillingsformeln*, представленных в архаических латинских *carmina*. Параллельные синтаксические структуры способствуют акцентной регуляризации текста, создавая определенный ритмический и мелодический рисунок. Ритмика может поддерживаться еще и такими фонетическими средствами, как аллитерация.

Поэтические каноны нередко включают существующие в обыденной речи синтаксические конструкции, и искусственно культивируемая особенность языка нередко приобретает гипертрофированные размеры. Крайности такого рода можно наблюдать в экспериментах с гипербатом у некоторых латинских авторов или с хиазмом в древнеирландских генеалогиях.

Принципиально важной представляется концепция о диатоническом и диахроническом характере индоевропейского поэтического языка, ставящая вопрос о поисках адекватных методов реконструкции поэтической традиции в пространстве и времени [Meid, 1977, 89].

Работы Ф. де Соссюра, К. Уоткинса, В.Н. Топорова и других ученых открывают перспективы для исследования индоевропейской металингвистической традиции, без знания которой невозможно понимание правил, по которым строился поэтический текст. Выяснение смысла операций по "деформации" слова, производившихся индоевропейскими поэтами с целью отыскать то единство, в котором сочетались бы звук и смысл, открылись бы тайны имен, т.е. принципов профессиональной работы со словом (текстом), несомненно имеет самостоятельную ценность как важный элемент духовной культуры. В поэтическом тексте находят отражение мифологические и идеологические представления индоевропейцев, социальные функции поэзии и поэта. Поэтому проблемы реконструкции индоевропейского поэтического языка выходят далеко за рамки чистой лингвистики и охватывают сопредельные области знаний, расширяя и обогащая содержание и технику лингвистических методов реконструкции.

ПАЛЕОБАЛКАНСКИЕ ЭТНИЧЕСКИЕ СВЯЗИ ПО ДАННЫМ ФРИГИЙСКОЙ ЛЕКСИКИ

Древнейшим свидетельством индоевропейской речи являются хеттские памятники XVIII—XIV вв. до н.э. Вторые по древности — тексты линейного письма В XIV—XIII вв. до н.э., обнаруживающие близкое родство с засвидетельствованными намного позже (VII—IV вв. до н.э.) аркадо-кипрскими говорами греческого языка. Обычно носители диалекта, отраженного слоговым письмом В, отождествляются с гомеровскими Ἀχαιοί и народом страны Ἀχχίῃ(α), упоминаемой в хеттских памятниках XV в. до н.э. [Гамкрелидзе, Иванов, 1984, 901—903]. Гомеровские поэмы, завершенные к VII в. до н.э., в своем древнейшем ядре восходят к XII в. до н.э. и повествуют о завоевании Трои объединенными силами ахейцев и данайцев, властвовавших над племенами юга Балканского полуострова. Сплоченные ахейцами племена позже получили название Ἕλληνες, потомки же троянских союзников обычно стали именоваться βαρβαροί, однако в античной традиции различие между эллинами и варварами не всегда связывалось с различиями в языке. У Гомера нигде не упоминается, что троянцы и их союзники говорят на ином языке, чем ахейцы и данайцы: эпитет карийцев βαρβαρόφωνοι ("Илиада" В 867) применялся позже и к элейцам (Гесихий) и мог значить 'говорящие на странном, необычном диалекте' (Strabo XIV 603) [Откупщиков, 1988, 141]. Гомер перечисляет союзные с троянцами племена (В 816—877, К 428—431), из которых наиболее значительными в Европе были Ὀρφεὺς 'фракийцы', а в Малой Азии — Φρύγες 'фригийцы'. Дополнив эти сведения данными Геродота, Аполлодора и Страбона, мы можем восстановить картину расселения племен, живших к северу и северо-востоку от ахейских владений и связанных генетически и политически с тевкрами (Τευκροί) — основным населением Трои.

Самым западным было племя бригов (Βρύγες, Βρύγοι, Βρύκai, Βρυκεῖς), проживавшее к северу от Охридского озера (Herod. VII 73; Strabo VII 7—9, 326—327) и считавшееся предками малоазийских фригийцев, их ближайшими соседями на северо-востоке, между озером Прасиадой (Преспой) и рекою Стримоном (Струмой) были Πιόονες, которых Геродот (V 13, VII 20) считал потомками тевкров, а по словам Страбона (VII fr. 38), "одни считали ἀποίκους (переселенцами, эмигрантами) Φρυγῶν, другие же фригийскими ἀρχηγέτας (иммигрантами, предшественниками)". На севере от пеонов, между Иллирией и Фракией (на территории современных Метохии и Косова), во времена Страбона обитали Δάρδανοι, но у Гомера дарданы всегда упоминаются следом за троянцами (В 819, Г 456, Н 365, О 425), а Аполлодор (III 12,1; 34) сообщает, что Дарданием прежде называлась страна, населенная тевкрами (т.е. троянцами). Далее на юго-востоке, на приморской равнине до устья Геброта (совр. р. Марица), обитали Κίκοιες (В 846, ι 39; Herod. VII 59, 108—110). Перед киконами в перечне троянских союзников (2-я песня "Илиады")

названы фракийцы. По-видимому, в гомеровские времена это было название одного лишь племени, позже распространенное как общее (объединяющее) название на все близкородственные племена, жившие к северу от Эгейского моря и к западу от Черного моря (Понта), — на пеонов, дарданов, мигдонов, одомантов, эдонов, кикон, одрисов и др. (так же, как название племени эллинов перенесли на всех дорийцев, ионийцев, эолийцев). На Геллеспонте и к югу от Пропонтиды (Мраморного моря) жили тевкры, мзоны и фригийцы. Название Φρύγες соотносится с Βρύγες, а Μαίονες (Μήρονες) — с Κίκονες, Μυγδονες, Παίονες (по-видимому, здесь тот же суффикс, что и в Μακεδόνες, Ἰάονες 'ионийцы'). В греческих преданиях, таким образом, сообщалось о каких-то этнических перемещениях и о генетических связях племен, обитавших от озер Охридского и Преспы на западе до Геллеспонта и южного берега Пропонтиды на востоке. Из азиатских союзников Трои Гомером названы пафлагоны, гализоны, мисы, карийцы (βαρβαρόφωνοι Κάρες), лелеги, ликийцы; неоднократно (В 840, К 429, Σ 288—289, Т 117) упоминаются пеласги. Геродот (I 28, III 90, VII 59, 75, 108—110, IX 32) и другие авторы (Pomp. Mela 2, 98) сообщают также о малоазийских племенах Βιθυνοί и Θυνοί, живших к востоку от Малой Фригии (от Пропонтиды до реки Сангария, совр. Сакарья) и родственных фракийцам. Родственными карийцам (лелегам) и мзонам считались малоазийские Μυσοί (ср. Herod. I 171, VII 74), язык которых, по свидетельству Страбона (XII 572), был "полулидийским-полуфригийским" (μυξολυδίων γὰρ πῶς εἶναι καὶ μυξοφρύγιον). Наконец, к фракийцам причислялись традиционно племена, жившие к северу от Хемуса (Αἶμος, совр. Стара Планина) по Дунаю: трибалы, дунайские мисы, геты (даки) и др.

Отдельные слова и названия, принадлежавшие диалектам фрако-фригийских племен, иногда употреблялись в речи греков и были засвидетельствованы (часто с пометами "фригийские", "фракийские", "македонские") в поздних словарях и глоссах (Гесихий, Фотий, Стефан Византийский и др.). Обнаружить в них какие-либо местные (диалектные) фонетические различия пока не представляется возможным, но можно выявить наиболее общие черты их исторической фонетики и построить гипотезы о генетических связях всех этих языков и диалектов с другими индоевропейскими языками.

Реконструируемые диалекты общеиндоевропейского праязыка разграничиваются двумя фонологическими изоглоссами — более древней *decem/taihun* ("передвижение согласных") и более поздней *centum/satəm*. Звонкие рефлексy decem отражены в арийских, греческом, иллирийских, итало-кельтских, албанском, балто-славянских языках, глухие рефлексy taihun — в германских, агнео-кучанских (псевдотохарских А, В), армянском, хетто-лувийских. Фрако-фригийские глоссы указывают на звонкий рефлекс:

ἄζην (вин. п. ἄζένα) πώγων, γενεῖας (Hesych.; Et. Magn.) — греч. γένυς (но арм. *snawt* 'щека, челюсть');

ἀργίπους·ἀετός (Hesych.) — греч. ἀργός 'блестящий, быстрый', др.-инд. *rji-puá-* 'быстрый, стремительный' (эпитет орла), авест. *arzi-fya-* 'орел' (но арм. *arciv* 'орел');

ἀργυίτας·τήν λαμίαν (Hesych.), ἀργίλος·ὁ μῦς (Steph. Byz.), ἀργίος·λε-
υκός, ταχύς (Hesych.) — греч. ἀργός (но арм. *arcat* 'серебро');

βαγαῖος — эпитет Зевса (Hesych.) — либо греч. φηγός 'дуб' (дерево,
посвященное Зевсу, ср. в Додоне Ζεὺς Φηγωναῖος), либо др.-инд.
bhaga-s, авест. baya- 'наделяющий' (слав. БОГЪ);

βέδν'ῶδωρ (Clement. Alex.), но арм. *get* 'река';

γέλαρος·ἀδελφοῦ γυνή (Hesych.) — греч. γάλως, лат. *glos*, слав.
ЗЪЛЬВА (но арм. *tal* ← **cal* 'золотка');

οὐγενω υἱῷ (в местной греческой надписи) 'родному (?) сыну' —
др.-инд. *sva-jana-* 'родственник', греч. νεο-γνό-ς 'новорожденный' (но
арм. *spanim* 'рождаю', *spawl* 'родитель').

Вряд ли как примеры "передвижения согласных" следует рассмат-
ривать случаи колебания между звонкостью и глухостью в глоссах
и при передаче собственных имен, топонимов и этнонимов в греческих
надписях и текстах, отражающие, по-видимому, какие-то поздние
диалектные процессы: βέκος·ἄρτος, Φρύγες (Hesych.) — βάγος·κλάσμα
ἄρτου... Λάκωνες (Hesych.); Βαβης — Παπας; Βαβύλος — Παπυλος;
Βαλην — παλην 'иарь'; Βάργαζα — Варкаса; Βηρισάδης — Παιρισαδης;
Βερεκύνδαι — Βερεκύνται; Βίστιρος — Πίστιρος; Βρίγες (Βρύγαι) — Βρύ-
κες (Βρύκαι); γαβαλα — κεβαλα 'кефалή'; Γορδυνία — Γορτυνία;
Ζάλμοξις — Σάλμοξις; Κοσγίνια — Κοσκίνια; Κουσιλος — Κουζίλος;
Μηκύβερνα — Μηκύπερνα; Μυγάλης — Μυκάλης; Πιγρης — Πικρης;
Πιξωδαρος — Πιξωταρος [Откупщиков, 1988, 126—127].

Греческим глухим придыхательным во фрако-фригийских и маке-
донских глоссах соответствуют звонкие (как в большинстве индоев-
ропейских языков): αἰθήρ — ἀδή 'небо'; ἐχῖνος 'ж', ἐχίς 'змея' — ἐξις
(вм. *ἐξις); θάλασσα 'море' — δάξα, δαλάχχα; θάνατος 'смерть' — δάνος;
θῶς 'шакал' — δάος 'волк' (Hesych.); θῶραξ 'панцирь' — δῶραξ;
Ζεὺς Θαύλιος — Καν-δαύλης 'куνάγχης'; θιγγάνω (аор. θιγεῖν) 'каса-
юсь, трогаю руками', τεῖχος (← *θειχο-ς), τοῖχος 'стена' (др.-инд.
dēhī 'вал, стена, крепость', *dehmi* 'обмазываю глиной') — фрак -διζα
'крепость'; Γριμενοθύραι (город во Фригии) — Γριμενοδουρίτοι (на-
именование его жителей) [Haas, 1960, 55]; θέρμη 'теплая, горячая' —
Γέρμη (совр. Сапаревска Баня); ἡ Θέρμα κολωνία (в Галатии; Ptol.
V 4,5); κεφαλή — κεβαλη, γαβαλα; νίφα (вин. п. от νίξ 'снег') — νίβα
(Hesych., Phot.); ὄφρυς 'бровь' — αβρουτες (Hesych.); φηγός, Φηγωναῖ-
ος — βαγαῖος; Φαῖδρος (собственное имя, φαῖδρός 'светлый') — Γαιδρη;
φαλλός — βαλλίον, βάμβαλον·αἰδοῖον (Hesych.); Φρύγες — Βρύγες;
χάλις 'несмешанное вино' — ζελαῖς; φορύνω 'смешиваю' — βρύτον 'ячмен-
ное пиво'; χαμαλός 'земной' — ζεμελεν·βάρβαρον ἀνδράποδον (Hesych.).

Догреческим топонимам на юге Балканского полуострова на -vθ
соответствуют малоазийские на -vδ-: Ἀλαβανθίς — Ἀλάβανδα;
Κανθάριον — Κάνδαρα; Κήρινθος, Κόρινθος — Κορύανδα; Κόλυνθος —
Κάλυνδα; Λαβύρινθος — Λάβρα(υ)νδα, Λαβραунδος; Λάρυνθος (Ζεὺς
Λαρύνθιος) — Λάρανδα; Πάνθαρος — Πάνδαρος; Πίνθαρος — Πίνδαρος;
Προβάλινθος — Εὐρυβάλινδος; Πύρανθος, Πυρινθεύς — Πύρινδος;
Σίνθος — Σίνδος [Гиндин, 1967, 152, 167; Откупщиков, 1988, 110]. Все
эти соответствия говорят, очевидно, о специфическом греческом оглу-

шении индоевропейских звонких придыхательных уже после эллинизации юга Балкан (в местах же более древнего заселения и в сопредельных областях сохранялась звонкость).

Заднеязычные рефлексy *centum* отражены в хетто-лувийских, греческом, иллирийских, итало-кельтских, германских и агнео-кучанских языках, переднеязычные рефлексy *satəm* — в арийских, армянском, албанском, балто-славянских языках. Фрако-фригийские глоссы указывают на переднеязычный рефлекс только перед гласными переднего ряда, что можно истолковать как результат позднейшей палатализации, а не принадлежность к группе *satəm*: ἄζεν- 'борода' (греч. γένυς); Ἀσεις (надпись на лидийской монете, где изображен Зевс с козой — лит. *ožys* 'козел'); ἔξιν (вин. п. вместо *ἔξιν 'эж', греч. ἐχίνοϛ 'эж', ἔχισ 'гадюка; выдра'); ζελκία·λάχανα (греч. χλοή 'зелень', лит. *žolė*); ζεμελε- 'человек' (греч. χαμαλός 'земной'); ζετραία 'горшок' (греч. χύτρα); ζευμαν 'источник' (греч. χεῦμα). В других позициях заднеязычная артикуляция сохранялась: Ἀκρισίας·Κρόνοϛ παρὰ Φρυξίν (Hesych.) — греч. ἄκριϛ 'вершина, скала' (но др.-инд. *acri-s* 'угол', 'острие', арм. *asetm* 'игла'), ἀκρουνοί 'пограничные камни' (греч. ἄκρον 'вершина'); γλουροϛ 'золото' (греч. χλωρός, но авест. *zaray-* 'желтый', ст.-слав. ЗЛАТО). Индоевропейские лабиовелярные перед передними гласными не палатализировались: Γέρμη (греч. Θέρμη, др.-инд. *gharma-* 'горячий, теплый'); Κίκλην· τήν Ἀρκτον τὸ ἄστρον (Hesych.) — 'Большая Медведица, Воз' (греч. κύκλος 'колесо', агн. *A kukāl*, куч. *B kokale* 'воз, колесница'); κίμεροϛ· νοῦϛ (Hesych.) — греч. τίω 'почитаю, уважаю', др.-инд. *cāyati* 'наблюдает, замечает, обожает'.

Поскольку фрако-фригийские глоссы не обнаруживают ни признаков языков *taihun*, ни признаков языков *satəm*, то их не следует сближать с армянским языком (несмотря на сообщения Геродота и Страбона о какой-то связи армян с Фригией). Наибольшие схождения они обнаруживают с греческим языком, и мы можем предполагать о существовании некогда особой палеобалканской индоевропейской диалектной общности (с которой помимо греческого были связаны македонский, фракийский, фригийский, карийский языки) [Откупщиков, 1966, 32; 1988, 129—131, 184—186, 191].

Опираясь на полученные данные палеобалканских глосс, мы можем перейти к попыткам интерпретации надписей. Существует три группы надписей: а) десять надписей V — IV вв. до н.э. греческими буквами из Фракии; б) надписи VIII — VI вв. до н.э. особым старофригийским алфавитом (родственным с греческим, лидийским, карийским, ликийским) из восточной Фригии и Галатии; в) надписи II—III вв. н.э. греческими буквами из восточной Фригии и северной Ликаонии. В последней, самой многочисленной (свыше ста), группе так называемых новофригийских надписей особо выделяются надгробные надписи с повторяющейся в довольно близких вариантах формулой проклятия (тому, кто посмеет разрушить эту надпись) — стандартные надписи. В одной из них часть проклятия написана по-гречески (получается, таким образом, своего рода билингва). Начинать этимологический анализ целесообразно со стандартных новофригий-

ских надписей.*

Первая часть надписи XVIII В 96 выполнена по-гречески: $\delta\varsigma$ $\acute{\alpha}\nu$ $\tau\acute{o}\upsilon\tau\omega$ $\mu\eta\mu\epsilon\acute{\iota}\omega$ $\kappa\alpha\kappa\acute{\omega}\varsigma$ $\pi\rho\omicron\sigma\pi\omicron\iota\eta\sigma\epsilon\iota$ η $\tau\omicron\iota\varsigma$ $\pi\rho\omicron\upsilon\epsilon\gamma\rho\alpha\mu\acute{\mu}\epsilon\nu\omicron\iota\varsigma$ $\upsilon\pi\epsilon\nu\alpha\nu\tau\iota\omicron\nu$ $\tau\iota$ $\pi\rho\acute{\alpha}\xi\eta$... 'Кто же с этим памятником плохо поступит или выше (прежде) написанным [письменам] какой-либо вред сделает...' Фригийские соответствия этому:

VI В 2 $\iota\omicron\sigma$ $\tau\alpha$ $\mu\alpha\nu\kappa\alpha\iota$ $\kappa\alpha\kappa\omicron\upsilon\nu$ $\alpha\delta\delta\alpha\kappa\epsilon\tau$ $\tau\iota$

XX В 5 $\iota\sigma$ $\kappa\epsilon$ $\sigma\epsilon\mu\omicron\nu$... $\kappa<\nu>$ $\omicron\upsilon\mu\alpha\nu$ $\omicron\sigma$ $\alpha\delta\alpha\kappa\epsilon\nu$

XIX В 6 [$\iota\omicron$] σ $\nu\iota$ $\sigma\epsilon\mu\omicron\nu$ $\kappa\nu\omicron\upsilon\mu\alpha\nu\epsilon$ [$\kappa\alpha\kappa\omicron\nu$] $\alpha\beta\beta\epsilon\rho\epsilon\tau$ $\alpha[\iota]\nu\omicron\upsilon$ [μ] $\mu\alpha\nu$ -
[$\kappa\alpha$] ν $\tau\omicron\sigma$ $\nu\iota$

VIII В 7 [$\iota\sigma$] $\nu\iota$ $\sigma\epsilon\mu\omicron\nu$ $\kappa\nu\omicron\upsilon\mu\alpha\nu\epsilon$ $\kappa\alpha\kappa\alpha\nu$ $\alpha\iota$ $\kappa\alpha\nu$ $\alpha\beta\beta\epsilon\rho\epsilon\tau$

I В 10 $\iota\omicron\sigma$ $\nu\iota$ $\sigma\epsilon\mu\omicron\nu$ $\tau\omicron\upsilon$ $\kappa\nu\omicron\upsilon\mu\alpha\nu\epsilon\iota$ $\kappa\alpha\kappa\omicron\upsilon\nu$ $\alpha\delta\delta\alpha\kappa\epsilon\tau$

VIII В 11 [$\iota\omicron\sigma$ $\sigma\epsilon$] $\mu\omicron\nu$ $\kappa\nu\omicron\upsilon\mu\alpha\nu\epsilon\iota$ $\kappa\alpha\kappa\omega\nu$... $\alpha\nu\alpha\beta\beta\epsilon[\rho\epsilon\tau]$ $\tau\iota$...

X В 12 $\epsilon\iota\omicron\sigma$ $\nu\iota$ $\sigma\epsilon\mu\omicron\nu$ $\kappa\nu\omicron\upsilon\mu\alpha\nu\iota$ $\kappa\alpha\kappa\omicron\upsilon\nu$ $\alpha\delta\delta\alpha\kappa\epsilon\tau$

XII В 14 [ι] $\omicron\sigma$ $\nu\iota$ $\sigma\epsilon\mu\omicron\nu$ $\kappa\nu\omicron[\upsilon]\mu\alpha\nu\epsilon\iota$ $\kappa\alpha\kappa\iota\nu$ $\alpha\delta\alpha\kappa\epsilon\tau$

XX В 21 $\iota\omicron\sigma$ $\sigma\alpha$ $\sigma\omicron\rho\omicron\upsilon$ $\kappa\alpha\kappa\epsilon$ $\alpha\delta\alpha\kappa\epsilon\tau$

VI В 26 $\iota\omicron\sigma$ $\nu\iota$ $\sigma\epsilon\mu\omicron\nu$ $\kappa\nu\omicron\upsilon\mu\alpha\nu\epsilon$ $\kappa\alpha\kappa\omicron\nu$ $\delta\alpha\kappa\epsilon\tau$ $\alpha\iota$ $\nu\iota$ $\mu\alpha\nu\kappa\alpha$ $\tau\iota$

II В 28 $\iota\omicron\sigma$ $\nu\iota$ $\sigma\epsilon\mu\omicron\nu$ $\kappa\nu\omicron\upsilon\mu\alpha\nu\epsilon$ $\kappa\alpha\kappa\omicron\theta\nu$ $\alpha\delta\alpha\kappa\epsilon\tau$

XV В 33 $\iota\omicron\sigma$ $\nu\eta$ $\sigma\epsilon\mu\omicron\nu$ $\kappa\nu\omicron\upsilon\mu\alpha\nu\epsilon\iota$ $\kappa\alpha\kappa\omicron\upsilon\nu$ $\alpha\delta\delta\alpha\kappa\epsilon\tau$ $\gamma\epsilon\gamma<\rho>\epsilon\iota\mu\epsilon\nu\alpha\nu$
 $\epsilon\gamma\epsilon\delta\omicron\upsilon\tau$ $\iota\omicron\sigma$ $\omicron\upsilon\tau\alpha\nu$

VII В 35 $\iota\omicron\sigma$ $\nu\iota$ $\sigma\alpha\iota$ $\kappa\alpha\kappa\omicron\upsilon\nu$ $\alpha\delta\delta\alpha\kappa\epsilon$ $\mu\alpha\nu\kappa\alpha\iota$ $\alpha(?)$ $\alpha\nu\alpha\nu\kappa\alpha\iota$

XII В 42 $\iota\omicron\sigma$ $\nu\iota$ $\sigma\epsilon\mu\omicron\nu$ [κ] $\nu[\iota]\mu\alpha\nu[\epsilon\iota$ $\kappa\alpha\kappa]$ $\omicron[\upsilon\nu$ $\delta\alpha\kappa\epsilon\tau]$ $\alpha\iota$ $\sigma\alpha$ $\tau\rho\alpha$ [$\pi\epsilon$] $\zeta\eta$

IV В 51 [$\iota\omicron\sigma$ $\sigma\epsilon\mu$] $\omicron\nu$ $\rho\epsilon\kappa\tau\epsilon\omicron\nu\iota$ $\kappa\alpha\kappa\omicron\upsilon\nu$ $\alpha\delta\alpha\kappa\epsilon\delta$

XIII В 53 $\iota\omicron\sigma$ $\nu\iota$ $\sigma\epsilon\mu\omicron\nu$ $\kappa\nu[\omicron\upsilon]\mu\alpha\nu\epsilon\iota$ $\kappa\alpha\kappa\omicron\upsilon\nu$ [α] $\delta\delta\alpha\kappa\epsilon\tau$

V В 56 [ι] $\omicron\sigma$ $\alpha\sigma$ $\tau\omicron\upsilon$ $\sigma\kappa\epsilon\rho\epsilon\delta\rho\iota\alpha\sigma$ $\kappa\alpha\kappa\omicron\upsilon\nu$ $\delta\alpha\kappa\epsilon\tau$

II В 61 $\iota\omicron\sigma$ $\sigma\epsilon\mu\omicron\nu$ $\tau\omicron\upsilon$ $\kappa\nu\omicron\upsilon\mu\alpha\nu\epsilon\iota$ $\kappa\alpha\kappa\omicron\nu$ $\alpha\delta\alpha\kappa\epsilon\tau$ $\tau\iota$

VIII В 62 $\iota\omicron\sigma$ $\nu\iota$ $\sigma\epsilon\mu\omicron\nu$ $\kappa\nu\omicron\upsilon\mu\alpha\nu\epsilon\iota$ $\kappa\alpha\kappa\omicron\nu$ $\alpha\delta\delta\alpha\kappa\epsilon\tau$

IX В 64 $\alpha\iota$ $\kappa\omicron\sigma$... [$\kappa\nu\omicron\mu\alpha\nu$] $\epsilon\iota$ $\kappa\alpha\kappa[\omicron\upsilon\nu$...]

V В 67 $\iota\omicron\sigma$ $\sigma\alpha$ $\tau\iota$ $\sigma\kappa\epsilon\lambda\epsilon\delta\rho\iota\alpha\iota$ $\kappa\alpha\kappa\omicron\upsilon\nu$ [δ] $\alpha\kappa\epsilon\tau$

XI В 71 ... $\tau\iota$ $\sigma\kappa\epsilon\gamma\epsilon\rho\epsilon[\nu]$...

XIV В 72 $\iota\omicron\sigma$ $\kappa\epsilon$ $\alpha\nu$ [σ] $\epsilon\mu\omicron\nu$ $\kappa\omicron\upsilon\sigma\sigma$... $\omicron\nu$ $\kappa\alpha\kappa\omicron\nu$ $\alpha\delta\delta\alpha\kappa\epsilon\tau$ [τ] ι

XIX В 73 $\iota\omicron\sigma$ $\nu\iota$ $\sigma\epsilon\mu\omicron\nu$ $\kappa\nu\omicron\upsilon\mu\alpha\nu\iota$ $\kappa\alpha\kappa\omicron\nu$ $\alpha\beta\beta\epsilon\rho\epsilon\tau\omicron\rho$ $\alpha\sigma$ $\nu\iota$ $\sigma\alpha\sigma$ $\mu\lambda\upsilon\epsilon\iota$

XIX В 75 $\iota\omicron\sigma$ $\kappa\alpha\kappa\omicron\nu$ $\alpha\beta\beta\epsilon\rho\epsilon\tau\omicron\rho$ $\kappa\nu\omicron\upsilon\mu\alpha\nu\epsilon\iota$ $\alpha\iota$ $\nu\iota$...

XX В 86 $\iota\omicron\sigma$ $\nu\iota$ $\sigma\epsilon\mu\omicron\nu$ [κ] $\nu\omicron\upsilon$] $\mu\alpha\nu\iota$ $\kappa\alpha\kappa\omicron\upsilon\nu$ $\alpha\delta\delta[\alpha]\kappa\epsilon\tau$ $\epsilon\iota$ $\nu\iota$ $\mu\alpha\nu\kappa\eta$

XII В 87 $\iota\omicron\sigma$ $\nu\iota$ $\sigma\epsilon\mu\omicron\nu$ $\kappa\nu\omicron\upsilon\mu\alpha\epsilon\iota$ $\kappa\alpha\kappa\omicron\upsilon\nu$ $\alpha\delta\alpha\kappa\epsilon\tau$ $\alpha\iota$ $\nu\iota$ $\tau\iota\alpha$ $\mu\alpha\sigma\alpha$ $\tau\iota$ $\alpha\delta\epsilon\iota\tau\omicron\upsilon$

XVII В 88 $\iota\omicron\sigma$ $\nu\iota$ $\sigma\epsilon\mu\omicron\nu$ $\kappa\nu\omicron\upsilon\mu\alpha\nu\epsilon\iota$ $\kappa\alpha\kappa\epsilon$ $\alpha\delta\delta\alpha\kappa\epsilon\tau$ $\kappa\omega\rho\omega\upsilon\omicron\upsilon\epsilon\nu$ $\alpha\omicron\upsilon\iota$

XX В 91 [$\iota\omicron\sigma$ $\nu\iota$ $\sigma\epsilon$] $\mu\omicron\nu$ [$\kappa\nu\omicron\mu\alpha\nu\epsilon\iota$ κ] $\alpha\kappa\omicron\upsilon[\nu$ α] $\beta\beta\epsilon\rho\epsilon\tau\omicron\iota$ $\alpha\iota$ $\nu\iota$ $\alpha\sigma$ $\tau\alpha$ τ
 $\sigma\alpha$ $\mu[\alpha\nu\kappa\alpha]$

XX В 92 $\iota\omicron\sigma$ $\nu\iota$ [σ] $\epsilon\mu\omicron\nu$ $\kappa\nu\omicron\upsilon$] $\mu\alpha\nu\epsilon$ $\kappa\alpha\kappa\omicron\upsilon\nu$ [$\alpha\delta\delta\alpha\kappa\epsilon\tau$ $\alpha\iota$] $\nu\iota$ $\kappa\omicron\rho\omicron\upsilon\epsilon$...

XVI В 99 $\iota\omicron\sigma$ $\nu\iota$ $\omega\epsilon\mu\omicron\nu$ $\kappa\nu\omicron\upsilon\mu\alpha\nu\epsilon\iota$ κ ... $\kappa\epsilon$ $\alpha\delta\alpha\kappa\epsilon\tau$ $\tau\iota$

XXI В 100 $\iota\omicron\sigma$ $\sigma\epsilon\mu\iota\nu$ $\kappa\nu\omicron\upsilon\mu\alpha\nu\epsilon$ $\mu\omicron\upsilon\rho\omicron\upsilon\nu$ $\delta\alpha\kappa\epsilon\tau$ $\alpha\iota$ $\nu\iota$ $\kappa\alpha\kappa\omicron\nu$ $\kappa\iota\nu$ $\tau\iota$

XV В 106 $\iota\omicron\sigma$ $\nu\iota$ $\sigma\epsilon\mu\omicron\nu$ $\kappa\nu\omicron\upsilon\mu\alpha\nu\epsilon\iota$ $\kappa\alpha\kappa\omicron\upsilon\nu$ $\alpha\delta\omicron\kappa\epsilon\tau$ $\zeta\epsilon\iota\rho\alpha\tau\iota$

XXII В 111 [$\iota\omicron\sigma$ $\nu\iota$ $\sigma\epsilon\mu\omicron\nu$ $\kappa\nu\omicron\upsilon$] $\mu\alpha\nu\eta$ $\kappa\alpha\kappa\omicron\nu$ $\alpha\beta\beta\epsilon[\rho\epsilon\tau$...] $\omicron\nu$ $\mu\rho\omicron\sigma\sigma$ $\alpha\sigma$.

Сопоставляя эти фрагменты, мы можем предположить, что фриг. $\iota\omicron\sigma$ = греч. $\delta\varsigma$ 'кто, который' (сохранение начального *j- во фриг.

* В дальнейшем нумерация приводимых надписей дается по кн.: [Diakonoff, Neronak, 1985].

гйском). Греческим глаголам προσποιήσει, πράξη соответствуют фригийские αδ-δαкет (= греч. ἔθηκε?), αβ-берет (= греч. ἔφερε?), αβ-бере-тор (медяльное окончание, соответствующее лат. -tur, др.-ирл. -thir, хет. tar-i, агн.-куч. tār), αβберетoi (медяльное окончание -toi, соответствующее греч. аркад. -toi, др.-инд. -te). Прямое дополнение (вин. п.) — σεμουv... какоув (= греч. ἐν κακόν?), по-видимому, следует переводить как 'какое-то (некое, одно) зло' (*semo-, ср. слав. САМЪ в значении 'один'. греч. οὐδ-αμός 'никакой', др.-инд. samā- 'какой-нибудь, кто-то, что-то'). Косвенные дополнения (дат. п.) μανκαι, κνουμανει, ανανκαι, ректеови, σκερεδριασ, σκελεδριαи стоят на месте греч. μνημεῖω 'памятнику, надгробию' и προγεγραμμένοις '(прежде) написанным'; κνουμαν соответствует, несомненно, греч. κνῦμα 'царапанье, нацарапанное' (здесь — в знач. 'надпись') [Широков, 1988, 67]; ректеови ('сооружению? жертвеннику?') — предполагается корень реγ- 'делать, сооружать; приносить жертву' (греч. ῥέζω, ῥεκτήρ); σκελεδριαи (σκερεδριασ) 'насыпи, могиле?' (греч. κελέτρα 'насыпь, дамба, плотина'). Косвенным дополнением (дат. п.) являлось также кор(о)ουе (XVII В 88; XX В 92) — по-видимому, соответствует греч. аркад. корFai 'Коре, богине' (т.е.: 'кто причинит вред этому надгробию, надписи и этой богине...'). В надписи В 33 γεγρεиμεναν γεγедουτ ιοσ ουταν следует, по-видимому, понимать как 'который (ιοσ) испортит (?) эту надпись': ουταν — вин. п. от указательного местоимения, отраженного в греческом языке во второй части слов οὗτος, αὕτη, τοῦτο, τὸσοῦτος; γεγρεиμεναν = греч. γεγραμμένην; γεгедουт- — можно предположить здесь 3-е лицо ед. числа какого-то наклонения или времени с аугментом ε- и с неясной слитной соединительной гласной -ου-, корень -γед-, возможно, родствен с лит. gendù, gèsti 'вредить, портить, губить', gēda 'стыд, срам', ст.-слав. ГАДИТИ, ГАДЬ (также греч. δέννος — *δεθ-vo- 'поношение, позор', др.-инд. gandháyate 'разрушает, вредит, ранит'). В надписи XII В 42 αι σα тралеζη 'или этому жертвеннику (столу)'; XXI В 100 μουρουv стоит на месте какоув, может быть родственно с греч. μωρός (μῶρος) 'глупый'. В надписи XX В 21 σоро может быть родственно с греч. ὄρος (ион. οὔρος, коркир. ορFος) 'граница, предел' (может быть, также ἥρωс, 'Hpa 'охранитель, охранительница' лат. servus??).

Хуже поддаются интерпретации вторые (не имеющие греческой параллели) части стандартных новофригийских надписей:

VI В 2 ети т[ε]тетикμεвоσ еitou уке α καλα ουитетуv ουα

XX В 5 με διω[σ ζ]ομολω ети тетикμεвоσ ητου

XIX В 6 με ζελω ке деос [ке] ти ητι ттетикμεвоσ [еi]του

VIII В 7 деос ке ζεμ[ελωс...] α ке oi ειροia ти ете т[ε]тетикμενα iv] vou

I В 10 [ети т]тетикμεвоσ еitou

VIII В 11 тетикме[vнос α]тти адеи[т]του

X В 12 ζειροι ке oi пиес хе ти ттетикμενα аттиε адеинνου

XII В 14 αι vi δ αtea μασ ти тетикμεвоσ асти ав[еи]του

XX В 21 με ζεμελωс ти ттетикμεвоσ еitou

VI В 26 ти ттетикμεвоσ еitou

II В 28 ισ ети тетουκμενουv еitou

XV В 33 ак ке oi βекос ак каλос ти дреγρουv еitou аутос ке ουа ке рока γεγαριτμεвоσ ас βατον τευτουс

- VII B 35 οι παντα κεν αννου
 XII B 42 [...ζε]μελωσ κε [δε]ω[σ] με κουνουκεισ νι ου... αι παρτησ
 IV B 51 τε[τικμενο]σ ατ[τι] αδει[του...] ασγ
 XIII B 53 τ...ικ...ν [ε]τι τετικμεν[οσ] асти αν ειτον
 V B 56 ει τετικμενος ... αττιε αδειτου
 II B 61 τετιχμενος αττιε αδειτου
 VIII B 62 αι καν αττιη κε δεωσ κε τι τετικμενος ειτου
 V B 67 α[τ] τετικμενος αττι αδειτου
 XI B 79 [ε]τι τετικμ[ε]νοι ιννου...
 XIV B 72 τ[ε]τι κμενος [ατ]τι αδειτου... κοσι... κκιτορ κε... εντοσ ειτου
 XIX B 73 [με δεωσ] ζεμελωσ τι еτι τετικμενος ειτου
 XIX B 75 ...ζεμελωσ ιт еτι τετικμενος ειτου
 XX B 86 σβα... ιοι βεκοσ με βερεν αττιη κε τι τετικμ[ε]νος ειτου
 XII B 87 ουελασ κε του кει σνουа στοι παρτηс
 XVII B 88 асти γγεγαριτμενο<с> ειτου пουρ ουанаκταν ке ουρανιον
 ιсγει ке τ διουνсин
 XX B 91 ε[τι] τετικμενος ειτο[υ]
 XX B 92 [...ζεμ] ζελωσι κε θεωс к ети τετικμ[ε]νος ειτου] кео т екτεισει
 70. т<αλάντους> έκτει[σει]
 XVIII B 96 με δεωс κε ζεμελωс к ети τετικμενος ειτου
 XVI B 99 τετικμενος асти αν ειτου μι ке οι τοτοсс еити βас βεκοс
 XVI B 100 τετικμεν[οс атт]иε аде[ι]του
 XV B 106 τετικμενος аtti αδειτου γεγρειμενον ке γεδου оrouενοс ουτον
 XXII B 111 ιοс...εσαν τι ητι τε[ε]τικμεν[с] ειτου.

Повторяющееся слово (αδ)ειτουδ, ητου, по-видимому, 3-е лицо ед. числа императива и соответствует греч. ἔστω 'да будет' или ἴτω 'пусть идет'. Выражение к ети τετικμενος обозначало, по-видимому, 'а также (греч. ἔτι 'еще') заклеимен' (греч. ἐστιγμένος, στίγμα 'клеймо', др.-инд. *tigita-* 'острый, колючий', *tejate* 'заостряется, жжет, колет'; или же, принимая во внимание параллельную форму τετουκμενουν II B 28, можно сопоставить с греч. гом. τέτυκον 'соорудил, сколотил', τύκος 'каменотесный молот, долото', ст.-слав. ТЪКАТИ, ТЫКАТИ). Выражение με δεωс κε ζεμελωс, вероятно, соответствует греч. μετὰ θεούс (θεοίс) τε χαθαλούс (χθονίоис) 'среди (небесных) богов и земных' (или 'среди богов и людей'). В надписи VI B 2 уке α καλα ουιτετου оυа предполагается интерпретация: уке = гом. εὔτε 'когда, поскольку, как, в то же время' (гот. *-uh* 'ли'); α(?) καλα оуа 'его (свое) добро' (оуа = лат. *sua*, ср. переход **sm* → *w-*: фриг. ουεγνω 'родственному', ουεкро- 'свекор'); ουιτετου 'пусть сгорит' (др.-исл. *sviða*, др.-в.-нем. *swīdan* 'гореть') или 'пусть развеется' (греч. гом. ἀυτμή, ἀυτμήν 'веяние, ветерок', ἀετμόν-τὸ πνεῦμα, ἀετμα-φλόξ, Hesych.; др.-инд. *vāta-s* 'ветер', лит. *vėlyti* 'веять'); βεκοс ак καλοс (XV B 33) 'хлеб и добро' (греч. τὸ καλόс), οι 'ему, у него' (греч. дат. п. ἐοί, гом. οί, кипр., лесб. Foi = лат. *sui*); дреγρουν ('то, что должно убежать' ??) — может быть, причастие буд. времени, греч. τροχερός 'бегущий, убегающий' (фриг. дреγ- = греч. *θρεχ-, *θροχ-) или же 'то, что должно быть отнято' (дрег- 'братъ, держать; дѣргать?') [Haas, 1960, 36; Diakonoff, Neron-pak, 1985, 104 115-116]; аутос ке оуа к ерока γεγαριτμεнос... (XV B 33)

'сам и его потомство' (греч. φέσσαλ. Ἡρᾶ τέκνα, Hesych.) 'вместе собравши свое потомство' (греч. ἀγείρω 'собираю', ἀγῆγερμένος 'собранный?'). Часто встречающееся слово атти (αττι), по-видимому, не имя фригийского бога Аттиса, а стяжение от αστι (V В 56; может быть родственно с греч. ὀστέον 'кость?'). В XVII В 88: οὐρανᾶν κε οὐρανιον...κε...διούουσιν 'царя (греч. ἄναξ) и небесного... и... живущим' (??) (греч. ζάουσιν, *δjaFovт-σι).

При допущении гипотезы о якобы имевшем место "передвижении согласных" во фригийском языке предлагаются другие интерпретации отдельных фрагментов приведенных надписей [Haas, 1960; Diakonoff, Neroznak, 1985], но поскольку и они не дают связного чтения хотя бы только всех стандартных новофригийских надписей и противоречат данным анализа глосс, то их нельзя принимать за бесспорные. Все приведенные выше интерпретации полностью согласуются с концепцией палеобалканской языковой общности, состоявшей из греческого, македонского, карийского, фригийского, фракийского, дако-мизийского языков и языка древнего южнобалканского населения (пеласгского?), отраженного в греческой топонимике. Подобно тому как итальянские языки (латинский, фалискский, умбрский, оскско-сабельский, сикульский) имели тесные генетические связи с венетским, кельтскими и иллирийскими языками (род. п. на -i, условное наклонение на -a-, буд. время на *-bh-) и образовывали юго-западную группу (большую ветвь) индоевропейских языков, так и палеобалканские совместно с армянским и арийскими (индоиранскими) языками образовывали юго-восточную группу (аугмент, регулярное противопоставление основ аориста основам древнего имперфекта и др.).

К РЕКОНСТРУКЦИИ ЯЗЫКОВОЙ СИТУАЦИИ В ВОСТОЧНОМ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ II ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ ДО Н.Э.

(Языковая принадлежность "народов моря")

Научные открытия, сделанные на протяжении последнего столетия, существенным образом расширили наши познания о языковой ситуации Восточного Средиземноморья II тысячелетия до н.э. За это время археологами был открыт, а лингвистами дешифрован мощный массив письменных памятников, принадлежавших разным периодам, разным этническим группам и государственным образованиям. Были прочтены древнейшие письменные свидетельства индоевропейских языков Балкан (микенские таблички, записанные линейным письмом В) и Малой Азии (хеттские, лувийские и палайские тексты), тексты, записанные на языках других языковых семей: хаттские и хурритские памятники, семитские тексты Угарита. Даже когда дешифровка и интерпретация обнаруженных текстов не закончены (как в случае с линейным письмом А, кипро-минойским письмом, протобиблским письмом), мы все же имеем воз-

возможность составить себе некоторое представление о структуре языка, скрывающегося за этими памятниками¹.

В результате лингвисты получили возможность наметить основные языковые ареалы в Восточном Средиземноморье II тысячелетия до н.э. и происходившие в них языковые процессы. В то же время прерывистость письменных традиций и территориальная ограниченность фиксировавшихся на письме языковых образований не позволяют описать языковую ситуацию во всей ее полноте. Например, на северозападной периферии семитского ареала памятники Угарита характеризуют лишь местный вариант довольно обширного диалектного континуума, не относящийся напрямую ни с более ранними языковыми формациями региона (язык Эблы), ни с более поздними. В Малой Азии письменные памятники II тысячелетия до н.э. прямо характеризуют только центральную и восточную часть региона, в то время как о языковой ситуации западного побережья прямых свидетельств нет. На Балканах прочтенные тексты линейного письма В отражают лишь один из вариантов греческого языка и только в относительно узкий отрезок его истории²; что касается текстов письма А, то и в случае успешной дешифровки и прочтения они из-за ограниченной территории распространения не позволяют дать достаточно исчерпывающую характеристику языкового состояния на Балканах в первой половине II тысячелетия до н.э.

Эти обстоятельства делают необходимой реконструкцию ряда языков и диалектов, засвидетельствованных лишь фрагментарно, с тем чтобы выявить все основные факторы языковой истории в данном регионе. Даже когда мы имеем дело с практически не поддающимися интерпретации явлениями, необходимо все же так или иначе учитывать их при реконструкции, поскольку только в этом случае можно добиться необходимого приближения к исторической реальности. Чрезмерно упрощенные концепции языкового процесса, например прямого поступательного деления языковой общности по принципу "родословного дерева", возникают в значительной степени из-за того, что разного рода малые и неизвестные величины не учитываются в общей картине.

Для современного языкознания характерно стремление реконструировать языковую ситуацию во всей ее полноте — в динамике и неоднородности. Поэтому реконструкция фрагментарно засвидетельствованного языка предполагает учет внешних связей реконструируемого языка (как генетических, так и ареальных), его изменения во времени, возможность неоднородности языковой ситуации (двуязычие, многоязычие, наличие наддиалектных форм языка) и т.п. Достаточно сравнить картину, представленную в конце прошлого века П. Кречмером в

¹ Выявленные в процессе дешифровки структура письма и определяющие ее фонемная и силлабическая структуры, морфемная организация позволяют сделать некоторые заключения не только о типологических характеристиках соответствующих языков, но и о возможных генетических связях. Так, для языка линейного письма А ("минойского") и кипро-минойского языка есть основания предполагать генетические связи с древними языками Передней Азии (неиндоевропейскими) и, далее, с северокавказскими языками (см.: [Stephens, Justeson, 1978; Сергеев, 1984; Молчанов, 1987; Гамкрелидзе, 1988]).

² Статус языка линейного письма В и его место в исторической диалектологии греческого языка продолжают оставаться предметом дискуссий.

книге "Введение в историю греческого языка" [Kretschmer, 1896] и в современных работах, посвященных той же проблеме³. У Кречмера мы находим два статичных, однородных состояния: догреческий неиндоевропейский субстрат и греческий язык II тысячелетия до н.э., практически не отличающийся от языка, засвидетельствованного текстами I тысячелетия до н.э. В настоящее время достаточно оснований предполагать, что и так называемый средиземноморский субстрат, и протогреческое языковое состояние характеризуются неоднородностью как в пространстве, так и во времени и должны реконструироваться не в статике, а в динамике. Отсюда, например, отказ от проецирования диалектного членения греческого языка I тысячелетия до н.э. на состояние, относящееся ко II тысячелетию, и стремление выявить иную диалектную дифференциацию для этого периода [Risch, 1981].

Именно поэтому реконструкция языка с определенной хронологической характеристикой не замыкается только на периоде, непосредственно относящемся к реконструкции. Восстановление языковых систем II тысячелетия до н.э. не ограничивается синхронным материалом (аутентичные тексты, глоссы, заимствованные апеллятивы и имена собственные), привлекается и более поздний, относящийся к I тысячелетию до н.э., а иногда и к началу I тысячелетия н.э. Так, при реконструкции древних западносемитских языков — аморейского и ханаанейского — используются не только глоссы и имена собственные, содержащиеся в аккадских текстах II тысячелетия до н.э., но и письменные памятники западносемитских языков I тысячелетия до н.э. При изучении языковой ситуации на Балканах во II тысячелетии до н.э. догреческие языковые элементы извлекают из текстов, относящихся к I тысячелетию до н.э. — I тысячелетию н.э. В то же время результаты реконструкции языков II тысячелетия до н.э. имеют значение не только для прояснения ситуации в этот период, но и для понимания процессов как более раннего, так и более позднего времени. Реконструкция языковой ситуации II тысячелетия до н.э. в Малой Азии не только оказывает помощь в интерпретации данных I тысячелетия до н.э., но и служит основным источником реконструкции событий более раннего времени, III—IV тысячелетия до н.э. И в западносемитском ареале реконструкция языков II тысячелетия до н.э. проливает свет на лингвистические процессы как I, так и III тысячелетия до н.э.

Изучение реликтовых языков на основании иноязычных вкраплений в определенном массиве текстов (например, лувизмов в хеттских текстах и аморейских элементов в аккадских текстах) оказывается связанным с вопросом об отношениях между языками и их носителями в рамках единого (более или менее) социального образования. Ответ на этот вопрос позволяет во многом прояснить дальнейшие языковые процессы и их результаты (применительно к указанным примерам это будет падение хеттской языковой традиции и переход от "староанатолийского" к "новоанатолийскому" состоянию; формирование языковой картины Сирии и Палестины конца II — нач. I тыс. до н.э.).

³Заметим, что сам П. Кречмер в дальнейшем пришел к более дифференцированной концепции формирования греческого языка.

В зависимости от объекта исследования реконструкция реликтовых языков Восточного Средиземноморья II тысячелетия до н.э. может принимать различный характер. Во-первых, речь может идти о восстановлении языка, принадлежность которого к определенному ареалу родственных языков не вызывает сомнения (например, палайского для индоевропейских языков Малой Азии или (древне)ханаанейского для западносемитских языков). При этом выявляется место языка в ареале, с одной стороны, и внутренняя структура ареала — с другой. Во-вторых, при реконструкции реликтового языка на первом этапе его генетическая принадлежность может быть неизвестной или же известной только предположительно. Известен только ареал распространения языка (причем его границы нередко могут быть определены довольно приблизительно). Таково положение с субстратными языками Балкан, Эгеиды, Малой Азии. И наконец, в-третьих, лингвистическая реконструкция может начинаться в ситуации, когда не известны ни генетические связи реликтового языка, ни первоначальный ареал его распространения. Вполне естественно, что третий вариант реконструкции особенно сложен, но и результаты его в случае удачи представляют особую ценность и для лингвистики, и для истории.

Необходимость дать характеристику языка этнических групп, происхождение которых недостаточно ясно, возникает при изучении истории самых различных регионов и периодов. Лингво- и этногенетические процессы древности неоднократно сопровождались миграциями самого разного характера (см.: [Дьяконов, 1983]). В некоторых случаях активные этнические процессы приводили к быстрым перемещениям отдельных этнических групп на достаточно большие расстояния; в результате в тех или иных ареалах появлялся совершенно новый этнический и языковой элемент. Классическим примером служит появление гуннов в Европе в эпоху Великого переселения народов. К подобным процессам в Восточном Средиземноморье II тысячелетия до н.э. относится вторжение в Египет гиксосов, происхождение и языковая характеристика которых остаются предметом дискуссий (одни видят в гиксо-сах семитов, другие — хурритов или родственную им по языку этническую группу). Определяя языковую и этническую принадлежность подобных мигрирующих общностей, мы получаем возможность не только точнее охарактеризовать отдельные языковые коллективы и процессы языковых контактов на определенной территории. Язык таких этнических групп может дать ценные (а порой и уникальные) сведения о языковых процессах в исходном ареале их распространения.

Особый интерес для изучения языковой ситуации в Восточном Средиземноморье II тысячелетия до н.э. представляют так называемые "народы моря" — мигрирующие этнические группы, появление которых было отмечено ближневосточными и египетскими документами XIII в. до н.э.⁴ Пик их движения, судя по всему, пришелся на конец XIII — начало XII в. до н.э.; тексты, составленные в период правления фараонов Мернептаха и Рамзеса III, сообщают об оборонительных действиях против народов, часть которых была обозначена как "морс-

⁴Вопрос о более ранних упоминаниях отдельных этносов остается спорным, как и некоторые моменты египетской хронологии этого периода.

кие" ($p^3 jn$). Этим обозначением пользуются как условным общим наименованием всего комплекса этнических групп неясного происхождения, отмеченных в Восточном Средиземноморье в этот период. Помимо египетских источников об активных действиях "народов моря" сообщают документы, найденные в Угарите [Lehmann, 1979]. Масштабы событий подтверждаются и обнаруженной египетско-хеттской дипломатической перепиской, в которой обсуждаются совместные меры против вторжения [Schachermeyr, 1986, 339].

Время появления "народов моря" было временем серьезных социально-политических сдвигов в регионе. Именно в этот период происходит падение Хеттского царства, крито-микенских государств, разрушение Угарита. Появление "народов моря" в Леванте привело к выходу Палестины из сферы египетского влияния. До какой степени все эти события связаны именно с этническими передвижениями — вопрос дискуссионный, однако отрицать влияние "народов моря" на историю Восточного Средиземноморья II тысячелетия до н.э. невозможно.

Уже идентификация "народов моря" представляет значительные сложности. Сведения, сообщаемые в египетских источниках, крайне скудны, в них причудливо переплетаются элементы мифологии и реальной географии, этнографии, истории [Hölbl, 1983]. Но, пожалуй, наибольшую сложность представляет древнеегипетская транскрипция: во многих случаях звучание этнонимов восстанавливается только предположительно.

Египетские документы упоминают среди народов, условно обозначаемых как "народы моря", $\text{ḫ}^3\text{-r}^3\text{-d-n}$ (условное чтение — *шерден, шардана*), $\text{ḫ}^3\text{-k}^3\text{-w}^3\text{-ḫ}^3$ (условное чтение — *эвеш, акавашу*), $\text{ḫ}^3\text{-k}^3\text{-rw-ḫ}^3$ (условное чтение — *шекеш, шекелуша*), $\text{d}^3\text{-y-n-uw-n}^3$ (условное чтение — *денйен, дануна*), rw-kw (условное чтение — *лук(к)а*), $\text{ḫ}^3\text{-rw-ḫ}^3$ (условное чтение — *тереш, туруша*), $\text{w}^3\text{-ḫ}^3\text{-s}^3$ (условное чтение — *вешеш*), $\text{ḫ}^3\text{-kk}^3\text{-r}^3$ (условное чтение — *текер, зекер*) и $\text{rw-r}^3\text{-s}^3\text{-ty}$ (условное чтение — *пелесет, пуласти*).

Сложности идентификации хорошо видны на примере этнонима $\text{ḫ}^3\text{-kk}^3\text{-r}$. Поскольку египетское r могло обозначать любой плавный, а точное звуковое значение графемы ḫ^3 в этот период не совсем ясно, возникает возможность различных индентификаций: в *текер/zeker* видят отражение названия известной по греческим источникам этнической группы тебкροι (ср. имя эпонимического героя Тебкрос), и этнонима, известного в греческой передаче как σικελοί [ср.: Lehmann, 1977, 82—83; Raban, 1987, 120—121]. Наконец, существует предложение этимологизировать этноним на семитском материале, ср. др.-евр. *zāḳār* 'мужественный' [Goedicke, 1975, 182]. Вопрос остается открытым, однако если учитывать, что в египетских текстах середины — конца II тысячелетия до н.э. графема ḫ^3 служит для передачи аффрикат в иноязычной ономастике, то отождествление *текер/zeker* и тебкροι представляется маловероятным.

Пожалуй, единственный этноним, не вызывающий сомнений, — это *пелесет/пуласти*, которых можно уверенно отождествить с филистимлянами Ветхого завета (др.-евр. *p³lišīim*). После поражения в битве с войсками Рамзеса III в дельте Нила они осели на северной

границе Египта, по имени новых обитателей местность получила название *Палестина*. Соответствие данных египетских текстов, Ветхого завета и археологических исследований [см.: Dothan, 1982] позволяет довольно отчетливо представить историю филистимлян с момента их появления в Восточном Средиземноморье и до того, как они полностью растворяются в местном семитском населении (VIII—VII вв. до н.э.).

Идентификация других этнических групп связана с различными сложностями. *Эквеш* уже достаточно давно пытаются связать с известным греческим этнонимом *ахейцы* (*Ἀχαιοί*(F)οί, ср. хет. *Ahhijawa*), однако никаких прямых аргументов в пользу этого сближения нет. Если отождествить этот этнос с микенскими греками, то необходимо объяснить, почему в период серьезного кризиса микенской цивилизации они предпринимали дальние экспедиции. Кроме того, следует учитывать, что первоначально этноним мог принадлежать не грекам, а иной этнической группе, появившейся в это время в Греции и затем эллинизированной (ср. предположение В. Мерлингена об "ахейском" суперстрате в греческом языке и гипотезу Ф. Шахермайера о негреческих династиях в Греции в этот период [Merlingen, 1963—1967; Schachermeyr, 1982]. Наконец, возможно существование не одного, а по крайней мере двух индоевропейских этносов с этнонимом *ахейцы*, ср. различные этносы венетов среди индоевропейцев [Prosdocimi, 1979].

Те же сомнения относятся к попыткам сближения *дануна* с греческими *данайцами*, *Δαναοί*(F)οί. Необъясненным остается второе *n* в египетской транскрипции. В более ранних египетских текстах отмечен этноним/топоним *lnj*, который также может быть соотнесен с *данайцами* [Helck, 1979, 30—35]. Не менее вероятным представляется сближение этнонима *дануна* с местностью Дануна на юго-востоке Малой Азии [Schachermeyr, 1982, 186—198].

Отождествление *луку* и *ликийцев* (хет. *Luka*) осложняется тем обстоятельством, что хеттское слово обозначает страну (ср., написание с детерминативом: ^{URU}Lu-uq-qa) и не является этнонимом. Не совсем ясно и местоположение этой страны (см. сводку данных [Schachermeyr, 1986]). Есть основания предполагать, что ликийцы переместились на территорию, которую они занимали в I тысячелетии до н.э. (юго-запад Малой Азии), с северо-запада [Цымбурский, 1984].

Египетское *туруша* неоднократно пытались сблизить с историческими *тирренами/тирсенами* и *этрусками*; конкретных аргументов в пользу этого сближения пока немного, хотя оно и позволяет объяснить появление этрусков на территории их обитания в I тысячелетии до н.э. [Немировский, 1983].

Что касается *шерден* и *шекелуша*, то они могут быть отождествлены с историческими этносами *сардов* (давших название острову Сардиния) и *сикелов/сиколов*, догреческого населения восточной части Сицилии. В обоих случаях как историческое предание, так и археологические находки (вооружение, украшения) говорят за то, что эти этнические группы не были автохтонными, а появились

на островах в период, непосредственно следующий за временем вторжения "народов моря" в Восточное Средиземноморье [Sandars, 1978]. Об этом же говорит и тот факт, что топонимы, образованные от этнонима *сарды*, располагаются на побережье Сардинии, но не в глубине острова.

Таким образом, упоминаемые в египетских источниках *пелесет*, *шерден* и *шекелуша* с разной степенью достоверности могут быть отождествлены с историческими *филистимлянами*, *сардами* и *сикулами*. Однако это почти ничего не дает для характеристики их происхождения, поскольку все исторические сведения относятся к периоду после миграции. Вопрос об их происхождении следует решать комплексно, с привлечением всех возможных данных, как лингвистических, так и нелингвистических (исторических, археологических).

Следует отказаться от взгляда на этническую и языковую принадлежность "народов моря" как единую характеристику. Участие этих этнических групп в объединенных военных экспедициях еще не гарантирует их этнической и языковой однородности. Ни общая типология древних миграций, ни конкретные исторические данные не дают оснований для подобного предположения. Вполне возможно, что в миграции "народов моря" были вовлечены различные по своему происхождению и языковым характеристикам этнические группы. В результате миграционных процессов могли возникать довольно разнородные по своему происхождению объединения. Например, египетские источники позволяют трактовать одну из атак "народов моря" на Египет как действия, предпринятые в союзнничестве с ливийскими племенами, также вторгшимися в это время в Египет.

При установлении языковой принадлежности "народов моря", как и при других исследованиях реликтовых языков, необходимо избегать априоризма, который, к сожалению, нередко присутствует в работах по этому вопросу. Примечательно, что исследователи, склонявшиеся к паниллиризму, видели в "народах моря" именно иллирийцев, сторонники "пеласгической" теории — именно пеласгов и т.п. В этих случаях отождествление по сути происходит до работы с фактическим материалом, который затем подгоняется под готовую концепцию. При этом обычно даже не задаются вопросом, почему та или иная этническая группа должна была покинуть места обитания и совершать дальние миграции, причем именно в рассматриваемый период.

Изучение языковой принадлежности филистимлян имеет достаточно давнюю историю. В середине века к этой проблеме обращались Дж. Бонфанте, В. Георгиев, У.Ф. Олбрайт, и каждый из исследователей предложил свой вариант решения. Дж. Бонфанте предполагал, что филистимляне — один из иллирийских этносов [Bonfante, 1946]. По мнению Георгиева [Georgiev, 1950], филистимляне — пеласги (πελασγοί из *πελαστοί). У.Ф. Олбрайт был склонен видеть в филистимлянах, как и в других "народах моря", обитателей Анатолии [Albright, 1950]. Соответственно решался и вопрос о языковой принадлежности филистимлян.

Наиболее надежным источником сведений о языке являются аутентичные письменные памятники, непосредственно отражающие язык данного этноса. Попытки обнаружить тексты на языке филистимлян предпринимались неоднократно.

В начале 60-х годов археологи обнаружили в долине Иордана, в Деир-Алла, глиняные таблички с неизвестными письменами, напоминающими линейную письменность Эгеиды. Почти сразу же было высказано предположение, что эти таблички могли принадлежать филистимлянам. Однако стратиграфический анализ заставляет предположить, что памятники неизвестной письменности относятся к более раннему слою и написаны до появления филистимлян [Dothan, 1982, 84]. К тому же крайне малый объем текстов (таблички содержат всего несколько десятков знаков) делает даже предварительную интерпретацию памятников маловероятной. В районе Ашдода, города филистимлян, обнаружили оттиск печати, также со знаками типа линейного письма [там же, 41]. Хотя принадлежность к соответствующему хронологическому слою в данном случае не вызывает сомнения, объем памятника слишком мал.

В последнее время проблемами филистимлянской письменности активно занимался Дж. Наве. Исследователь связывает возможность существования письменности у филистимлян с возникновением греческого алфавита, полагая, что сходство греческих букв не с финикийскими знаками VIII в. (по традиции именно к этому времени относят передачу письма от семитов к грекам), а с более ранними образцами семитской квазиалфавитной письменности может быть объяснено, если предположить, что греки получили письменность не непосредственно от семитов, а от филистимлян, сыгравших при этом роль посредников. Доказательством этого Дж. Наве считает черепок, найденный в Избет Царта. Надпись на черепке сделана одним из вариантов раннеханаанейской письменности и представляет собой алфавит, за которым следует серия знаков, не поддающаяся интерпретации на основе семитского языкового материала. Надпись сделана неопытной рукой, так что представляет собой, по-видимому, попытку освоения письменности. Как полагает Дж. Наве, остракон мог быть написан филистимлянином [Naveh, 1980, 25], однако предложить осмысленную интерпретацию надписи пока никому не удалось.

Совсем недавно Дж. Наве привлек внимание к еще нескольким письменным памятникам, которые можно рассматривать как следы филистимлянской письменности. В отличие от памятников из Деир-Алла и Избет Царта, относящихся к ранней истории филистимлян, эти находки характеризуют конец существования филистимлян как этнической группы. Несколько небольших надписей могут быть отнесены к памятникам филистимлян VIII—VII вв. до н.э., когда филистимляне утрачивали независимость и были в конце концов подчинены Ассирией [Naveh, 1985]. Филистимляне подверглись к этому времени значительной ассимиляции, часть из них носила семитские имена. Филистимляне пользовались для составления деловых документов не только семитским письмом, но и языком местного

семитского населения. Сохранили ли они к тому времени свой язык в устном общении, неизвестно.

Хотя надписи VIII—VII вв. не могут непосредственно характеризовать язык филистимлян XIII—XII вв., есть основания полагать, что несемитский языковой материал этих памятников может дать представление о первоначальном языке этноса. Судя по всему, надписи содержат личные имена филистимлян.

А. Кемпински [Kempinski, 1987] указал, что для некоторых имен могут быть приведены анатолийские параллели. Действительно, *ʾnʃ* может быть сопоставлено с именами *Avva*, *Avvaš*, широко распространенными в различных областях Малой Азии I тысячелетия до н.э. [Zgusta, 1964, 67—68]. Есть основания полагать, что имя *Yumʃ* содержит элемент *iya-*, входящий в различные малоазийские имена. В то же время ономастика филистимлянских надписей позволяет привлечь ряд балканских параллелей. *Prʃ* может быть сопоставлено не только с малоазийскими именами, но и с антропонимикой микенских надписей, а также с фракийским *Παράς* и под. [Detschew, 1957, 356]. *Kʃ* сопоставимо с фракийским *Κόσις*, а также с элементами *Κασ-*, *Κασε-*, *Κασι-* во фракийской ономастике [там же, 233], а *ʃ[s]* — не только с малоазийскими *Σαλας*, *Σαλης*, *Σαλος* [Zgusta, 1964, 451], но и с фракийскими *Σαλας*, *Σαλλας* [Detschew, 1957, 412]. У *drmyʃ* обнаруживаются параллели и в малоазийской ономастике с элементами *Δερί-*, *Δρι-* [Zgusta, 1964, 146, 155], и во фракийской с *Δορ(ι)-*, *-δραιος*, *Δρι-*, *Δρει-* [Detschew, 1957, 149—150, 156—157]³.

Другим источником, который может оказать помощь в поиске реликтов языка филистимлян, является текст Ветхого завета, сохранивший предания о филистимлянах. В Ветхом завете указывается несколько личных имен филистимлян. Среди них есть и семитские имена, например *Авимелех* (*ʾaḇimelek*). Имя *Голиаф* (*Gālyāʾ*) сопоставляли с древнеанатолийским **Walwatta*, ср. лидийское имя *Ἄλυάττης* [Zgusta, 1964, 55]. Однако это сближение представляется достаточно произвольным, поскольку мена *w/g* (диссимиляция?) не находит надежных параллелей и обоснований (начальное *w-* в древнееврейском переходит в *y-*). Другое личное имя, *Акиш* (*ʾAkiš*), сопоставлялось на основе варианта, представленного в Септуагинте, *Ἀγχοῦς*, с именем персонажа "Илиады" *Анхиза* (*Ἀγχισης*). Если исходить из варианта масоретского текста, то индоевропейские имена собственные с основой *Aki-/Ake-* встречаются на обширной территории, включающей Персию, Малую Азию, Балканы и кельтские районы Западной Европы [Detschew, 1957, 11; Zgusta, 1964, 51], так что делать на основании этого имени какие-либо выводы о языковой принадлежности филистимлян не представляется возможным.

³Обращает на себя внимание наличие в именах шипящего звука (ʃ, шин) там, где следовало бы ожидать *š*. То же относится и к древнееврейской передаче этнонима филистимлян, где свистящий (уверенно засвидетельствованный египетскими текстами) также заменен на *š*. Объяснением этого обстоятельства может служить предположение о довольно позднем семитском переходе *š > ʃ* [см.: Дьяконов и др., 1987].

Имя *Sap̄/Sipai* находит параллели на Балканах — Σαπαῖοι [Detschew, 1957, 421] и в Малой Азии [Zgusta, 1964, 456]⁶.

Предпринимались попытки выделить и апеллативные заимствования из языка филистимлян в древнееврейский язык. Наиболее вероятным заимствованием представляется обозначение филистимлянских властителей *s̄rānīm* (*status constructus sarnē*)⁷. Это слово сопоставлялось с греческим *tύραννος*. Происхождение слова *tύραννος* остается спорным, поэтому сближение *s̄rānīm* и *tύραννος* может лишь очень приблизительно указывать на довольно обширный ареал Эгеиды и Малой Азии. Другим апеллативом, обсуждаемым в связи с языком филистимлян, является *qōḇa' / kōḇa'* 'шлем' (в частности, шлем Голиафа). Его сопоставляют с хет. *kupahi*, греч. *κῦβαχος*. Довольно широкое распространение аналогичных лексем в семитских языках Ближнего Востока позволяет усомниться, что слово это было заимствовано из языка филистимлян, скорее речь идет о заимствовании из хеттского языка непосредственно соседними этническими группами семитов [Rabin, 1963] либо, с учетом греческой параллели, о "средиземноморском" термине, заимствованном разными народами [Gusmani, 1968, 85].

В последнее время было указано, что специфический эпитет города Дор (судя по археологическим данным, он некоторое время находился под властью "народов моря") в Ветхом завете, *nāḇā*, может быть сопоставлен с греч. *νάπη*, *νάπος* 'лесистое ущелье, долина' [Raban, 1987, 121]. Однако в самом греческом языке это слово не этимологизируется (ср., возможно, балканские топонимы с элементом *нар-* [Detschew, 1957, 327]).

Итак, имеющийся в ближневосточных и египетских текстах языковой материал не позволяет со всей определенностью охарактеризовать языковую принадлежность филистимлян. Вероятные параллели указывают главным образом на Балканы и западную часть Малой Азии. Представляется разумным вспомнить указание Дж. Бонфанте на сходство этнонима филистимлян с эпирским топонимом *Palaeste* [Bonfante, 1946, 251]. Сегмент *pal-/pala-* — не единичное явление в ономастике северо-западной части Балкан. Хотя отождествление филистимлян именно с иллирийцами, предложенное Бонфанте, не обязательно должно вытекать из этого сопоставления, само сопоставление представляется вполне вероятным, тем более что оно поддерживается и археологическими данными (см. ниже).

Что касается другой этнической группы "народов моря", сиколов, то материалы для реконструкции их языка также крайне немногочисленны.

⁶ Предполагалось также, что антропонимика, родственная антропонимике филистимлян, содержится в египетском памятнике XI в. "Путешествие Ун-Амуна в Библ" [Путешествие..., 1960]. Однако в последнее время было предложено рассматривать эти имена собственные как топонимы, семитские по происхождению [Green, 1986].

⁷ Здесь также не совсем ясно, какой первоначальный звук стоит за буквой "самех" в древнееврейском написании (аффриката или уже свистящий). Все же можно указать на несколько параллелей. Ср. фракийский этнос *Ζηράνιοι*, элементы *Ζυρα-/Ζυρο-*, *Συρα-/Συρο-*, *Σαρα-* в балканской ономастике [Detschew, 1957, 184, 194, 422, 424, 470—471, 487]. В карийской ономастике это *Σαρ-*, *Σαρο-*, *Σουρν-* [Zgusta, 1964, 456, 473].

численны. Древнеегипетские и ближневосточные тексты не содержат никаких сведений, кроме самого этнонима [Lehmann, 1979]. На Сицилии, где сикулы засвидетельствованы уже в исторический период своего существования, сохранилось несколько лапидарных надписей на языке сикулов, относящихся к середине I тысячелетия до н.э. [Schmoll, 1958]. Кроме того, в трудах античных авторов встречается небольшое количество глосс, обозначенных как характерные для языка сикулов. Чрезвычайно малый объем затрудняет интерпретацию надписей.

Как показали В. Пизани и У. Шмолль, сходство языка сикулов с латинским — результат позднейших схождений (заимствования либо влияние общего субстрата; в некоторых случаях следует предположить культурную лексику, широко распространенную в средиземноморском бассейне, например $\lambda\tau\rho\alpha$ /libra 'фунт'). Фонетические явления, характерные для сикульского, указывают скорее всего на его близость с мессапским языком и языками северо-запада Балкан [Schmoll, 1958, 103—106]. Это — сужение гласных и монофтонгизация дифтонгов, переход $s > h$, выпадение -и- в интервокальной позиции.

Дополнительные материалы дают ономастические параллели. Имена собственные (топонимы и этнонимы) с основой *sikel-/sikul-* засвидетельствованы не только в Италии, но и на Балканах [Lehmann, 1979, 492—494; Detschew, 1957, 442—443]. Антропонимические данные также указывают на балканские параллели [Bonfante, 1984].

Все это делает обоснованным предположение, что сикулы двигались на Сицилию с северо-запада Балкан, возможно несколькими группами. Вопрос о том, как соотносится ближневосточный поход сикулов с заселением Сицилии (т.е. было ли их движение на восток отдельной, самостоятельной миграцией или же сикулы появились в Сицилии после того, как не смогли закрепиться в Восточном Средиземноморье), пока остается открытым.

Сведения о языке сардов практически отсутствуют. Ни ближневосточные, ни античные источники не содержат имен собственных или глосс, которые можно было бы считать отражением их языка. Не обнаружены и надписи (самые ранние надписи на Сардинии были сделаны финикийцами). Можно было бы выделить сардскую лексику из субстратной лексики романского языка Сардинии, однако такая задача до сих пор не ставилась. Исследователи, изучавшие языковую предысторию острова, исходили из убеждения, что весь языковой материал, относящийся ко времени до появления греческих колоний и латинских поселений, является неиндоевропейским. Например, И. Хубшмид, выделяя шесть (!) слоев "палеосардского" субстрата, не допускает даже возможности, что среди этих слоев мог быть и индоевропейский [Hubschmid, 1963, 147—148]. Однако если исходить из того, что положение сардов на Сардинии было сходным с положением филистимлян в Палестине и сикулов на Сицилии, то надежды на выделение субстратной сардской лексики не много.

Единственным свидетельством о языке сардов является их этно-

ним. И в этом случае параллели указывают на Балканы: там засвидетельствованы имена собственные $\Sigma\rho\delta\epsilon\varsigma$, $\Sigma\rho\delta\omicron\iota/\Sigma\rho\delta\omicron\iota$, $\Sigma\rho\delta\iota\kappa\acute{\eta}/\Sigma\rho\delta\iota\kappa\acute{\eta}$ [Detschew, 1957, 423, 430]. Примечательно, что совместное пребывание сикулов и сардов засвидетельствовано ономастикой как на Балканах, так и на Сардинии [Lehmann, 1979, 493]. Сближение этнонима сардов и названия столицы Лидии *Сарды* должно быть отброшено, так как изначальная форма лидийского топонима — *šfard* [Zgusta, 1984, 541—542]. Поэтому приходится с особой осторожностью относиться и к возможности принятия других малоазийских параллелей⁸.

Полученные в настоящее время данные по языкам "народов моря" с достаточной определенностью указывают на север Балканского полуострова и западную часть Малой Азии. При этом ономастика, связанная со всеми тремя рассмотренными этническими группами — филистимлянами, сикулами и сардами, сходится именно на Балканах. Предположение о балканском происхождении по крайней мере части "народов моря" хорошо согласуется с археологическими данными. Раскопки показывают, что начиная с XIII в. до н.э. с севера Балкан на юг полуострова двигались этнические группы, пользовавшиеся лепной керамикой и вооружением, во многом идентичным тому, которое связывают с появлением "народов моря" [Deger-Jalkotzy, 1977; Sandars, 1978]. Сходные передвижения предполагают и по направлению Балканы — Малая Азия [Schachermeyr, 1982]. Теми же путями двигались (очевидно, несколько позднее) мессапы и фригийцы. Особенно важен тот факт, что появление филистимлян в Палестине совпадает с появлением в этом регионе позднемикенской керамики типа III C1 [Dothan, 1982]. Это значит, что филистимляне прошли на своем пути через территорию, занятую микенскими греками (египетские источники и Ветхий завет связывали филистимлян с Критом; вполне возможно, что остров был промежуточной остановкой на пути филистимлян на юг).

В условиях крайнего дефицита данных, как в случае с "народами моря", возможности реконструкции крайне ограничены, а результаты носят в большей или меньшей мере гипотетический характер. Возможность реконструкции и ее результаты связаны с широким контекстом языковой, этнической и культурной истории. Соотнося часть данных о "народах моря" с лингво- и этногенетическими процессами на Балканах II тысячелетия до н.э., мы получаем дополнительные характеристики индоевропейского языкового ареала и его периферийных контактов с другим языковым ареалом — семитским. Это позволяет точнее представить фон, на котором происходила кристаллизация древнегреческого языка, формирование его в том виде, каким он предстает в текстах I тысячелетия до н.э. Выявление региональной соотнесенности языков "народов моря" оказывается

⁸ Возможная связь Сардинии с миграцией этрусков [Немировский, 1983] не противоречит предположению о балканском происхождении сардов. Следование одним миграционным маршрутом еще не означает единства этнического происхождения и языковой принадлежности (ср. появление финикийцев на Сардинии).

связанным и с давними дискуссиями о балкано-малоазийских параллелях. При всех различиях в интерпретации этих параллелей (ср.: [Гиндин, 1981; Откупщиков, 1988]) достаточно очевидно, что для решения проблем лингво- и этногенетических процессов в Восточном Средиземноморье необходима глубокая хронологическая стратиграфия событий, связывавших Балканы, Эгеиду и Малую Азию на протяжении тысячелетий.

Судя по всему, "народы моря" не представляли собой единую в языковом и этническом отношении массу, поэтому поспешная экстраполяция выводов, полученных относительно их части, на весь миграционный процесс может только затемнить реальную историческую картину. Интересно, что миграции, а тем самым и языковые и культурные влияния проходили отнюдь не случайными маршрутами: в течение многих веков разного рода контакты следовали одними и теми же путями. Движение "народов моря" явилось продолжением более ранних связей Эгеиды с Ближним Востоком и Египтом [Helck, 1979], освоение Сицилии и Сардинии было предначертано маршрутами, проложенными микенцами в Западном Средиземноморье. Столкновение "народов моря" с семитскими этносами привело к тому, что некоторое время спустя финикийцы начали освоение Средиземного моря, двигаясь теми же путями, которыми пришли в Левант "народы моря", но в обратном направлении. Учитывая многовековое существование таких миграционных, торговых и колонизационных путей, а также то обстоятельство, что установленные по этим путям связи могли (хотя бы частично) сохраняться в течение довольно длительного времени, уместно задаться вопросом: не являются ли карийские наемники в Египте поздним отзвуком походов "народов моря"? В случае положительного ответа мы получили бы еще одно связующее звено между языковыми процессами II и I тысячелетий до н.э.

ПРОБЛЕМА РЕКОНСТРУКЦИИ ГРАММАТИЧЕСКИХ ЧЕРТ ХАЗАРСКОГО ЯЗЫКА

Известно, что полностью восстановить исчезнувший язык, его фонемный и словарный состав, так же как и грамматический строй, никогда не удастся.

Однако, используя в комплексе различные приемы лингвистического анализа при широкой опоре на приемы ареальной лингвистики, можно с известной долей вероятности высказать предположения об особенностях грамматического строя исчезнувшего языка.

В настоящем разделе главным объектом рассмотрения избрана временная система глагола бесследно исчезнувшего хазарского языка. Существование самих хазар подтверждается многими историческими источниками; о них рассказывают в своих трудах и многие средневековые историки и их современники [Goldin, 1980].

С наибольшей долей вероятности можно предположить, что хазары были тюркоязычным народом, этнически очень близким болгарам [Плетнева, 1976, 22]; их государство возникло не позднее IV в. в низовьях Волги и на Дону, достигнув расцвета в VII—VIII вв., когда Хазарский каганат включил в свой состав весь Восточный Крым [Исчезнувшие народы, 1988]. Во второй половине X в. государство хазар исчезло [Басаков, 1969, 237]. Очевидно, язык древних тюркоязычных болгар имел много общего с хазарским, о чем сообщают и арабские авторы Истахри и Ибн-Хаукаль.

Установление принадлежности хазарского языка к тюркским способствует определению первоначальной территории расселения хазар и родственных им тюркских народов. Примечательны в этом отношении разработки С.А. Плетневой; согласно ее заключению, колыбелью хазар были прикаспийские степи Северного Предкавказья [Плетнева, 1976, 16].

Авторы средневековых хроник нигде не упоминают о чувашах. Может быть, это объясняется тем, что первоначально чувашский язык был одним из диалектов болгарского языка. Сохранились немногочисленные письменные памятники языка камских болгар и современных чувашей. Есть основания предполагать, что и предки современных чувашей в те давние времена также жили в регионе Предкавказья.

В настоящее время на Северном Кавказе проживают такие тюркские народы, как кумыки, ногайцы и карачаево-балкарцы. В истории этих народов еще много неясного. Существуют теории, сближающие кумыков с хазарами. Наши предварительные разработки свидетельствуют о том, что следы хазарского языка можно найти в таких северно-кавказских языках, как кумыкский и крымско-татарский, и в таких памятниках тюркской письменности как *Codex Cumanicus*. Это неудивительно, поскольку в течение нескольких веков Восточный Крым оставался за Хазарским каганатом (разработки некоторых исследователей свидетельствуют о том, что памятник XIII в. *Codex Cumanicus* находился в ареале Крыма).

Целый ряд исторических данных позволяет заключить, что в первой половине I тысячелетия н.э. Северный Кавказ и прилегающие к нему степи составляли определенный тюркоязычный ареал близкородственных тюркских языков, обладающих общими характерными чертами, установление которых дает возможность выявить и некоторые особенности каждого из этих языков в отдельности.

Исторические данные свидетельствуют и о том, что этот тюркоязычный ареал не был стабильным. Имели место довольно частые вторжения тюркоязычных народов этого ареала в бассейн Волги. К середине X в. территория Хазарии необычайно расширилась. Ее северная граница проходила где-то в районе устья Камы, восточная — по заволжским степям, южная — вдоль Кавказского хребта, а западная — по Крыму [Плетнева, 1976, 10].

Причиной переселения многих тюркских народов Предкавказья в бассейн Волги, очевидно, послужили так называемые арабские войны. Тюркоязычные народы Предкавказского ареала осуществляли

экспансию главным образом в северном направлении (бассейн Волги). Исключение в этом отношении составляли хазары. Многие исторические источники указывают на то, что хазары неоднократно вторгались на территорию современного Азербайджана, Грузии и Армении. Хазары около 150 лет хозяйничали на территории Северного Кавказа, в районе Дербентских ворот, и совершали опустошительные набеги на юг, в Закавказье и далее, в глубь Арабского халифата. Хазары при поддержке кыпчаков и других тюркских племен неоднократно проникали через Дербентский, Дарьяльский и другие горные проходы на территорию Арана. Историки отмечают, что ко времени вторжения арабов северная часть Азербайджана — Аран и Сюник — вместе с частью Грузии принадлежала хазарам [Бунятов, 1965, 29, 141].

Исторические данные свидетельствуют о том, что хазары не всегда полностью уходили из завоеванных стран. По-видимому, на территории Азербайджана, Грузии и даже Армении оставались их небольшие колонии. Особый интерес в этом отношении представляют хазарские колонии на территории Азербайджана. Ассимилируясь местным населением и усваивая тюркский язык предков-азербайджанцев, хазары могли привнести в язык этого населения и некоторые черты своего языка. Скрещение языков здесь могло быть особенно эффективным по той причине, что в данном случае контактировали родственные языки. И действительно, в ряде северных и восточных говоров азербайджанского языка отмечаются такие черты, которые никак не гармонируют с характерными чертами языков огузской группы. С другой стороны, отдельные особенности хазарского языка сохраняются в диалектах таких языков, как кумыкский, карачаево-балкарский, ногайский, крымско-татарский, исторические данные о которых дают возможность относить их в одном случае к ареалу Предкавказья, в другом — к крымскому региону (ср. временные формы *-ат*, *-атты* и др.).

Первая попытка реконструировать систему глагольных времен хазарского языка была осуществлена нами в статье "Ареальная лингвистика и проблема восстановления некоторых черт исчезнувших языков" [Гаджиева, Серебренников, 1977].

В настоящем разделе на основе данных ареальных разработок нами предлагаются дополнения, касающиеся буд. времени, что дает основания реконструировать систему глагольных времен хазарского языка в целом.

Для реконструкции нами используются следующие данные:

- 1) система глагольных времен чувашского языка, поскольку предполагается, что чувашский язык был родственен языкам хазарскому и тюркоязычным булгар;
- 2) следы влияния хазарского языка в северных и северо-восточных говорах и диалектах азербайджанского языка;
- 3) следы влияния хазарского языка в диалектах кумыкского, карачаево-балкарского, ногайского и крымско-татарского языков.

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ С ПОКАЗАТЕЛЕМ -АТ-

Это время довольно ярко представлено в современном чувашском языке:

сыр-ат-ăп	'я пишу'	сыр-ат-пăр	'мы пишем'
сыр-ат-ăн	'ты пишешь'	сыр-ат-ăр	'вы пишете'
сыр-ат	'он пишет'	сыр-аç-çĕ	'они пишут'

Форма данного времени образована от своеобразной основы наст. времени -*ат*, к которой присоединяются личные окончания*.

Любопытно также отметить, что эта временная форма встречается и в некоторых азербайджанских диалектах северной и северо-восточной части Азербайджана [Рустамов, 1961]. Ср. парадигму этого времени в кубинском диалекте:

ал-ад-дам	'я беру'	ал-ад-ығ	'мы берем'
ал-а-сан	'ты берешь'	ал-а-сыз	'вы берете'
(< ал-ад-сан)		(< ал-ад-сыз)	
ал-ад-ы	'он берет'	ал-а-ды	'они берут'

Р.А. Рустамов отмечает, что наст. время с показателем -*ыр*- (-*ыр*-, -*ур*-, -*ыр*-) в кубинском диалекте отсутствует. Наст. время с показателем -*ад*/-*ат* зарегистрировано во многих говорах северо-восточной части Азербайджана: хачмазском, худатском, конакендском, в районах Баку и Шемахи, а также в азербайджанских говорах на территории Дагестана — дербентском, табасаранском и др. Ср. в дербентском:

китэдәм	'я ухожу'	китэсэн	'ты уходишь'
		(< китэдсэн)	
китэдү	'он уходит'	китэдүк	'мы уходим'
китэсүз	'вы уходите'	китэдү(ләр)	'они уходят'
(< китэдсүз)			

Форма наст. времени на -*ад* зарегистрирована в говорах муганской группы диалектов азербайджанского языка. Ср.: *аладам*, *аласан*, *алады*, *аладух*, *аласуз*, *аладу* 'я беру' и т.д. [Говоры..., 1955, 115].

ПРОШЕДШЕЕ ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ С ПОКАЗАТЕЛЕМ -АТТА (-АТТЫ)

В чувашском языке это время также довольно хорошо представлено:

сыр-ат-тăм	'я писал' и т.д.	сыр-ат-тă-мăр-çĕ
сыр-ат-тăн		сыр-ат-тă-р-çĕ
сыр-ат-çĕ		сыр-ат-çĕ-ç.

* Глагольная форма на -*ат*, -*атты* встречается в диалектах кумыкского и крымско-татарского языков.

Здесь присутствует та же своеобразная основа наст. времени с показателем *-ат*, к которой, по-видимому, присоединялись формы первого прошедшего времени вспомогательного глагола *ə*- 'быть' — *ədim* 'я был', *ədiң* 'ты был' и т.д.

Сходное по структуре образование имеется в диалектах азербайджанского языка [Рустамов, 1961, 164]. Ср. кубинский диалект:

ал-ат-ды-м	'я брал' и т.д.	ал-ат-ду-х
ал-ат-ды-н		ал-ат-ду-з
ал-ат-ды		ал-ат-ди(лар).

Р.А. Рустамов квалифицирует эту форму как "битмәмиш кечмиш заман" — незаконченное прошедшее время. Такая же форма отмечена и в диалектах муганской группы [Говоры..., 1955, 115]:

ал-ат-ды-м	'я брал' и т.д.	ал-ат-ду-х
ал-ат-ды-н		ал-ат-ду-з
ал-ат-ды		ал-ат-ды.

В азербайджанских говорах Дербентского района зарегистрирована форма прош. времени на *-ытды*, очевидно, как результат аблаута от *-атды*. Форма на *-ытды* участвует в смешанной парадигме с формой перфекта на *-мыш*:

көрмүшәм	'я видел' и т.д.	көрмүшүк
көрмү-шән		көрмүшсүз
көр-үт-дү		көр-үт-дү(ләр).

В агдашских говорах Прикуринской полосы форма на *-атды*, *-əтди* не имеет личных окончаний: *мән алатды*, *о алатды*, *биз алатды*, *сиз алатды*, *олар алатды* 'я брал' и т.д.

В дербентских и в агдашских говорах Прикуринской полосы значения временной формы на *-атды* недостаточно четко определены: в дербентских говорах она имеет значение перфекта, а в агдашских — наст. и буд. времени.

Обращает на себя внимание ценное наблюдение А.Г. Велиева, отмечающего, что в агдашских говорах Прикуринской полосы время на *-атды* может иметь значения желательного и условного наклонения [Велиев, 1975, 42]. Любопытно, что форма на *-аттә-* в чувашском может означать условное наклонение: *сыраттәм* 'я написал бы'.

НАСТОЯЩЕ-БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ НА *-Ы*, *-И*, *-У*, *-Ү*

В различных диалектах азербайджанского языка, преимущественно в окраинных (как северных, так и южных), зарегистрирована форма наст.-буд. времени на *-ы*, *-и*.

В бакинском, шемахинском, нухинском, джебраильском диалектах эта форма в значении наст. времени употребляется преимущественно в 3-м лице: *алу* 'он берет', *кәтири* 'он приносит' и т.д. Характер-

ная для южного Азербайджана, эта форма употребляется и во 2-м лице: *галысан* 'ты остаешься', *кәсисән* 'ты режешь', *көрүсүз* 'вы видите', *кечисүз* 'вы проходите' [Рустамов, 1946, 69; 1965, 226].

Употребление показателя *-ы* в роли показателя будущего неопределенного времени наблюдается в языке азербайджанской классической литературы XIV—XVIII вв., а также в азербайджанских текстах, отражающих северный персидский фольклор: *Siz mändə çox xoş gəllisüz* 'Вы мне очень нравитесь' [Ritter, 1921, 187, 197].

Форма на *-ы/-и* керкукского диалекта на территории Ирака хранит значение наст.-буд. времени, например *кәли* 'он приходит, придет' [Пашаев, 1969, 10].

Показатель *-ы/-и* функционирует в качестве показателя буд. времени в кумыкском языке: *барыман* 'пойду', *гелисен* 'ты придешь', *алисан* 'ты возьмешь' [Джанмавов, 1967, 83—84]. Эта форма особенно характерна для подгорного диалекта и казанищенского говора буйнакского диалекта. Ср. подгорн. *бариман* 'пойду', *алисан* 'ты возьмешь' [Керимов, 1967, 63]. Настояще-будущее на *-ы/-у* отмечено в старокумыкском языке: *болу бир якиш сагъатлык йол* 'Будет добрая миля'; *Шу сагъатда болмаз олы* 'только не сейчас' [Дмитриев, 1949, 187].

Изогlossa с показателем *-ы/-у* (семантика — наст.-буд. время) проходит в хуламо-безенгийском диалекте карачаево-балкарского языка: *болу* 'будет', *кели* 'он придет' [Аппаев, 1960, 30].

Показатель *-ы* участвует в образовании аналитических именных форм: *бар-ы-йат-ыр-ын* вм. туркм. *барйарын* 'я иду' и т.д. [Баскаков, 1949, 115].

Та же модель наст. времени данного момента представлена в акногайском диалекте ногойского языка: *бар'иятырман бараятырман* 'Я иду (сейчас, в данный момент)' [Калмыкова, 1965, 15].

Форма наст. времени на *-ы/-и* зарегистрирована в анатолийских и румелийских диалектах турецкого языка.

Дуратив на *-ы/-и* в определенных фонетических условиях выступает в сочетании с *й*; последний может быть и не мотивирован. Форма наст. времени на *-ий/-ий* зафиксирована в диалектах азербайджанского, турецкого, кумыкского языков, а также в тюркских языках Средней Азии. Ср. говоры карабахского района: *чалыям* 'я играю', ст.-кумык. *беным башым агъруй* 'у меня голова болит' [Дмитриев, 1949, 145].

Тот же показатель *-ы/-и* (по происхождению дуратив на *-ы/-и*) можно усмотреть в таких сложных образованиях, как *-ыр-и*, *-йори* (ср. азерб. диал. *алыри* 'он берет в данный момент', *кәлири* 'он приходит в данный момент' и т.д.).

В тюркологической литературе форму наст., наст.-буд. времени на *-ы/-и*, *-у/-у* принято рассматривать как фонетически трансформированный вариант от *-ыр* [Рустамов, 1965, 226].

Нам представляется возможным рассматривать формы на *-ы* и на *-а* на правах самостоятельных показателей времени, лежащих в основе образований *-ыр* и *-ар*. Наряду с дуративным показателем *-а* был и дуративный показатель *-ы*. Развитие последнего, т.е. на

-ы, связано с фонетическим процессом аблаута $a \sim ы$, который затронул и другие словоизменительные аффиксы. Ср. афф. исходного падежа *-дан* $\sim$ *-дын*, причастный аффикс *-ган* $\sim$ *-гын* и др. Трудно объяснить, чем вызван этот процесс.

Природа дуратива на *-ы*, известный семантический объем этой формы позволяет соотносить ее как с планом настоящего, так и наст.-буд. и буд. времени. Можно допустить, что наряду с наст. временем с показателем *-а* типа тат. *ала* 'он берет' в тюркском праязыке имела параллельная форма с показателем *-ы*, которую мы восстанавливаем и для состояния хазарского языка: *ал-ы-мың* 'я беру', *ал-ы-сың*, *ал-ы*, *ал-ы-быз*, *ал-ы-сыз*, *ал-ы*.

Обращает на себя внимание тот факт, что изоглосса с показателем дуратива на *-ы*, *-и* сосредоточивается преимущественно в тюркских языках Прикаспия, не получая большого распространения в других тюркских языках.

Можно предположить, что в основе чувашского будущего и лежит древний дуратив на *-ы*. Такое предположение разделяет Б.А. Серебренников [Серебренников, 1979, 10—11]. Однако целый ряд тюркологов придерживается мнения, что в чувашском языке некогда существовало буд. время с показателем *-р*, но этот показатель по некоторым причинам исчез. Трансформацию старой формы аориста в чувашском языке Л.С. Левитская стремится объяснить следующим образом: "Первоначально аффиксальный *-р* элидировался после *р*-основ. Формант $\hat{a}$ (*-ə*) < $\hat{a}r$ (*-ər*) перестал осознаваться как морфологически значимый и был отождествлен с соединительным гласным личных окончаний. Допустима и зависимость исчезновения *-р* в форме на *-р* от фонетической эволюции аффикса прошедшего категорического $\hat{o}i$ > *-rə*, в результате которой формы типа *илрə* < *илər* стали неразличимы" [Левицкая, 1976, 64].

Признавая спорный характер происхождения формы буд. времени в чувашском языке, мы обращаем внимание на существующий факт: проанализированный выше дуратив на *-ы/-и*, зарегистрированный в тюркоязычных ареалах Кавказа, имеет соответствующую модель в чувашском:

сыр-ă-п	'я напишу'	сыр-ă-пăр	'мы напишем'
сыр-ă-н	и т.д.	сыр-ă-р	и т.д.
сыр-ĕ		сыр-ĕ-ç	

Факты дают основания полагать, что чувашская форма буд. времени *сырапăр* образовалась из *йазыбыз* 'мы напишем'.

Таким образом, хазарский язык мог иметь следующие глагольные времена: 1) настоящее на *-ат*, 2) прошедшее длительное на *-атты*, 3) прошедшее на *-ты*, 4) прошедшее на *-ған*, 5) будущее на *-ы*.

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Характерным для этого времени был показатель *-am/-em*. Доказательством его существования может служить наличие наст. времени с подобным показателем в говорах северной и восточной части Азербайджана, где некогда могли существовать колонии хазар. В результате контактирования языков хазарский язык мог навязывать свой тип наст. времени азербайджанским говорам.

ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ НА *-АТТЫ*

Наличие этого времени в говорах и диалектах северного и восточного Азербайджана также дает основание предполагать возможность его возникновения в результате влияния хазарского языка. Следует обратить внимание и на наличие соответствующей модели в чувашском языке. Второй элемент *-ты* в показателе *-атты* мог быть формой прош. времени вспомогательного глагола *э-*, как в чувашском языке. Следовательно, *-ты* в данном случае восходит к *эди* 'он был'. Эта форма также указывает на существование в хазарском языке прош. времени с показателем *-ты/-ды* (типа тур. *алды* 'он взял') и т.д.

Прош. время этого типа могло означать длительное действие, совершавшееся в определенный момент в прошлом (аналогичное англ. Past Continuous Tense), либо действие многократное, либо, наконец, действие, совершавшееся в силу обычая или привычки. Не исключена возможность, что это время могло также иметь значение условного наклонения.

ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ НА *-ТЫ (-ТИ), -ДЫ (-ДИ)*

Если хазарский язык принадлежит к тюркским языкам, то отсутствие в нем прош. времени на *-ты*, широко распространенного во всех тюркских языках, было бы просто невероятным. Кроме того, возведение второго компонента показателя прош. времени на *-атты* к формам прош. времени вспомогательного глагола *э-* 'быть': *эдим, эдиң* и т.д. — уже свидетельствует о том, что прош. время на *-ты* в хазарском языке существовало.

ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ НА *-ҒАН*

Учитывая распространение в современных тюркских языках Северного Кавказа и в чувашском причастия наст. времени на *-аган*, можно было бы предположить наличие в хазарском языке причастия на *-Ған*, поскольку показатель причастия наст. времени на *-аҒан* совершенно явно образован от причастного показателя *-Ған*. Однако категорически утверждать наличие в хазарском языке перфекта на *-Ған* довольно трудно.

Характерным для этого времени был показатель *-ы/-и*. Доказательством его существования может служить наличие наст.-буд. и буд. времени с подобным показателем в говорах северной, восточной и южной части Азербайджана, а также в говорах тюркских языков Северного Кавказа (кумыкского, карачаево-балкарского, ногойского), распространенных в тех местах Кавказа, где некогда могли существовать колонии хазар. В результате контактирования языков хазарский мог навязать названным говорам свой тип буд. времени. Следует еще раз подчеркнуть, что обращает на себя внимание и наличие соответствующей модели в чувашском языке.

Всякий раз, когда речь идет о наличии соответствующей модели в чувашском языке, подчеркивается не только чисто внешнее сходство в образовании глагольных времен в диалектах тюркских языков Кавказа и чувашского. В ряде конкретных случаев мы имеем главным образом сходство системы. Так, основа наст. времени, характеризующаяся показателем *-ат*, употребляется для образования не только настоящего, но и прошедшего длительного времени во всех сравниваемых языках.

Хорошо известно, что случайная конвергенция никогда не может образовать определенной системы. Если в чувашском языке и в северных азербайджанских говорах в образовании времен наблюдается определенная системность, значит, она не может быть случайной. Эта системность сохранилась благодаря хазарам, усваивавшим азербайджанский язык. Есть определенные косвенные доказательства, что эта система была азербайджанским говорам навязана извне.

Контакты азербайджанцев с хазарами подтверждаются историческими документами. Как уже отмечалось, хазарские элементы проявляются в основном в тех говорах азербайджанского и кумыкского языков, которые распространены на территориях, прилегающих к путям возможного проникновения хазар. Это главным образом равнинная полоса, идущая вдоль Каспийского моря (ср. районы Дербента и южнее его — г. Чога) [Буниятов, 1965, 41]. Интенсивное проникновение хазар через труднопроходимый тогда Кавказский хребет менее вероятно.

Если считать, что носители хазарского и чувашского языков обитали в Предкавказском ареале, территориально граничащем с Азербайджаном, то придется также признать, что указанные нами черты локализуются в этой географической зоне. Кроме того, они резко расходятся с основными признаками, характеризующими группу огузских языков в целом.

Наличие в северных и восточных диалектах азербайджанского языка следов хазарского влияния, очевидно, свидетельствует о том, что в эпоху господства хазар в Предкавказье, а может быть, и в более позднюю хазарскую эпоху, азербайджанское (тюркское) население отдельными островками уже проживало на территории современного Азербайджана.

Помимо чувашского, хазарского и диалектов азербайджанского

языка северной и восточной части Азербайджана сходная система образования времен совершенно явно прослеживается в языке западносибирских татар. Не оторвались ли предки западносибирских татар от тюркоязычного массива, представленного некогда в бассейне Волги такими языками, как болгарский, чувашский и хазарский? Изучение этой проблемы может пролить новый свет на во многом загадочную историю тюркских языков Волгокамья.

Приемы ареальных исследований в маргинальных районах, в окраинных диалектах, где чаще происходит консервация старых черт, дают возможность гипотетически восстановить и другие лингвистические признаки языков болгаро-хазарской группы. Ср., например: а) повышенная склонность к редукции гласных (следы которого, сохранились в северных окраинных диалектах азербайджанского языка, в языках Северного Кавказа, в тюркских языках Западной Сибири, в окраинных тюркских языках Средней Азии и т.д.); б) опереднение *ы* (следы которого сохранились в чувашском, например *хёл*, в окраинных диалектах тюркских языков Северного Кавказа и северных диалектах азербайджанского языка); в) изменение ст.-тюрк. *ч* > *ш* > *с'* (следы которого сохранились в чувашском, казахском, каракалпакском, ногайском (вибрация), в диалектах азербайджанского языка); г) случаи употребления перфекта без личных окончаний (следы которого сохранились в диалектах азербайджанского языка, в языке западносибирских татар, в чувашском, в некоторых тюркских говорах правого берега Волги и др.); д) форма причастия на *-акан* (следы которой сохранились в чувашском, в окраинных диалектах азербайджанского, кумыкского, ногайского, каракалпакского, казахского языков); е) наличие связочного средства *вар*, сохранившегося в окраинных дербентских говорах (ср. *йаза варам* 'я пишу', *йаза варсан*, *йаза вар* и т.д.). Более ранняя форма *вар* < *бар*, выполнявшая функцию связки, сохранилась и в других тюркских языках, таких, как, например, караимский. В караимском языке *бар* выступает на правах полноценной связки: *Мен бар-м(ен) карай, сен бар с(ен) карай* 'Я емь караим, ты (еси) караим' [Мусаев, 1964, 310].

Исторические данные о существовании савиро-хазарского союза подтверждаются и лингвистическими данными, островками сохранившимися в отдельных диалектах и говорах азербайджанского языка (дербентские, табасаранский говоры, айрумский, муганские говоры, а также казахский диалект).

Предлагаемая на правах гипотезы реконструкция различных грамматических черт хазарского языка не претендует на окончательную: в этой сложной проблеме еще много неясного. Дальнейшие разработки, поиски в этой области с использованием различных приемов лингвистического анализа помогут внести новые уточнения.

САМОДИЙСКАЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРАИСТОРИЯ САМОДИЙЦЕВ

В настоящем разделе ставится цель суммировать некоторые значимые с точки зрения лингвопалеонтологии данные по этимологии, диалектологии, генетическим и ареальным связям самодийских языков и истолковать их как источники для этногенетической и культурно-исторической реконструкции. Сравнительно-историческое языкознание является лишь одной из комплекса исторических дисциплин, и поэтому, естественно, эти данные способны пролить свет лишь на фрагменты общей картины; впрочем, ограничиваясь лингвистическими аргументами, автор старается учитывать и использовать (иногда и имплицитно) и результаты смежных дисциплин — археологии, этнографии, антропологии, что служит, как можно надеяться, защитой от произвольности в предлагаемых интерпретациях. С другой стороны, опора на языковые данные полностью оправдывается тем, что — особенно при углублении в не засвидетельствованное историческими документами прошлое — никакая из смежных дисциплин не способна соперничать с лингвистикой в точности и надежности этноязыковой "привязки" имеющегося материала.

Древнейшая прародина самодийцев. Убедительным итогом развития лингвопалеонтологии прауральской (финно-угро-самодийской) эпохи представляется разработанная П. Хайду концепция, согласно которой в VI—IV тысячелетиях до н.э. уральская прародина располагалась "к северу от Среднего Урала, между нижним течением Оби и истоками Печоры, большей частью, вероятно, в Западной Сибири" [Hajdú, 1964, 74]. Возможность западносибирской локализации не только уральской, но и даже финно-угорской прародины подтверждают результаты П. Вереша, основанные на данных о прежнем распространении в Западной Сибири некоторых широколиственных древесных пород и медоносной пчелы [Вереш, 1985; Veres, 1988].

К. Реден признает концепцию П. Хайду неадекватной, поскольку она не дает объяснения хронологическим и особенно географическим обстоятельствам контактов между уральцами (финно-уграми) и индоевропейцами [Rédei, 1986, 9]. Возражение это, однако, продиктовано чисто контактной трактовкой проблемы древнейших индоевропейско-уральских лексических параллелей и снимается ностратическим языкознанием.

Размещение той части прауральского населения, языковыми потомками которой явились самодийцы, допускает в рамках этой концепции дальнейшие уточнения. Анализ некоторых параллелей между венгерским, обско-угорскими и самодийскими языками, главным образом морфологических, подтверждает тезис о диалектной неоднородности уральского праязыка и позволяет предположить, что его "досамодийские" и "доугорские" диалекты обладали рядом общих черт, которые отличали их от "допермских" и особенно от "дофин-

но-волжских" диалектов [Хелимский, 1982]. Естественно считать, что "досамодийские" и "доугорские" диалекты образовывали единый диалектный ареал, и локализовать этот ареал в восточной части уральской прародины¹. Основой для такой локализации служит факт существования относительного изоморфизма между географической и генетической близостью отдельных языков уральской семьи. Этот изоморфизм сложился вследствие того, что дивергенция уральской праязыковой общности шла постепенно, освоение новых территорий велось главным образом населением той части прародины, которая примыкала к каждой из этих новых территорий, и соответственно схема позднейшего географического взаиморасположения языков-потомков в основном повторяет в увеличенном масштабе схему взаиморасположения соответствующих праязыковых диалектов (которая, в свою очередь, тесно коррелирует с относительной генетической близостью этих диалектов).

В данном случае речь идет об одном из частных приложений общего принципа этноисторической интерпретации диалектологических данных, к которому мы неоднократно апеллируем в своих исследованиях. Наличие явной корреляции между территориальной и генетической близостью диалектов (resp. языков-потомков), ситуация континуума с высокой долей вероятности указывают на постепенный характер происходившей дивергенции (примеры: романские, тунгусо-маньчжурские, дравидийские языки; коми-зырянские, хантыйские, селькупские диалекты). Отсутствие или слабость такой корреляции, обрывы диалектного континуума указывают на скачкообразность распада исходного единства или на то, что дивергенция не сводилась к простой иррадиации (примеры: иранские, тюркские, самодийские языки; восточнославянские, финские диалекты).

При этом следует считаться и с той возможностью, что районы, частично охваченные охотничьей промысловой деятельностью праяуральского населения, могли простирались довольно далеко на восток и юго-восток от указанной прародины и даже достигать региона, о котором ниже говорится как о вероятной самодийской прародине накануне времени распада самодийского праязыка. Учет этой возможности открывает путь к "стыковке" теории П. Хайду с гипотезами археологов, соотносящих с уральской языковой общностью относительно единую ранненеолитическую культуру, распространенную от европейского Приуралья до Енисея [Халиков, 1969, 381; Чернецов, 1973]. Одновременно оказывается возможным объяснить происхождение таких лексических соответствий между уральскими и алтайскими (особенно тунгусо-маньчжурскими) языками, которые обозначают природные и культурные реалии таежно-лесной зоны² и не

¹В более раннюю эпоху к этому ареалу мог примыкать и диалект — предок юкагирских языков (ср. характерную самодийско-юкагирскую изоглоссу использования коаффикса *-kʲ- в местных падежах).

²Речь идет о соответствиях типа ПУ **sukse* 'лыжи' ~ ПТМ **sũksi*- (выявлены в работах М. Рясенена, Б. Коллиндера, К.Г. Менгеса, Д. Синора, И. Футаки и некоторых других авторов).

могут поэтому отражать ни ностратические, ни более поздние — достаточно, впрочем, гипотетические — "туранские" (центральноазиатские) контакты (ср.: [Menges, 1977, 173]).

Прасамодийская эпоха: лексические данные. Названия хвойных деревьев, играющие столь важную роль в обосновании уральской прародины по П. Хайду, служат решающим аргументом и при рассмотрении проблем самодийской праистории. Самодийский праязык сохраняет уральские наименования основных хвойных пород — ели (ПС **kaet* < ПУ **kawse*; SW 61, UEW 222), кедра — точнее, кедровой сосны *Pinus sibirica* (ПС **tjetɛŋ* < ПУ **siksɜ*, SW 160, UEW 445), пихты (ПС **nulka* < ПУ **nulkɜ*; SW 112, UEW 327), сосны (ПС **jew* < ПУ **jɜwɜ*, SW 42, UEW 107). Столь замечательная сохранность этой группы лексики позволяет утверждать, что на протяжении всей прасамодийской эпохи (III — I тысячелетия до н.э.) носители праязыка не покидали зоны тайги. Речь идет, разумеется, в первую очередь или даже исключительно о западносибирской тайге: по палинологическим данным, в течение почти всего среднего голоцена (VI — середина I тысячелетия до н.э.) широкое распространение *Pinus sibirica* в этом регионе, а отчасти также на крайнем северо-востоке Европы и на правобережье Енисея, сочеталось с ее вероятным отсутствием (или присутствием только в виде кедрового стланика) как в остальных частях Европы, так и на почти всей территории Восточной Сибири [Hajdú, 1964; Хотинский, 1977].

Показательно, что у ботанического феномена — распространения хвойных пород из Западной Сибири в Восточную — обнаруживается языковой аналог. К ранним самодийским или угорским формам, продолжающим указанные выше уральские названия кедра и ели, могут восходить ПТМ **suktu* 'кедр' (TMC 2: 122) и **k'asi-* 'ель' (TCM 1: 56), а к более поздним формам тех же названий — ПТМ **takti-* 'кедр' (TMC 2: 156), а также тюрк. **kaɖu* 'сосна' (VEWT 218; скорее всего, из ПС **kaet̪i-*, ср. нен. *xadi* 'ель') и **tyt* 'лиственница' (VEWT 479).

На распространение самодийского языка накануне распада праязыковой общности в таежной зоне указывают также присутствовавшие в нем названия лиственницы (**tojma*) и ряда таких животных и птиц, общим ареалом обитания которых могла быть только тайга: гагары **nuən̄g̊*, кедровки **käsɜrɜ*, глухаря **seŋk̄ȳ*, россомахи **wiŋkənci*, соболя **ki*, лютяги **pənso(j)* (SW 112, 65, 140, 176, 69, 121), а также выдры **tet* [Helimski, 1987, 92], горноста́я **piŋɜ*, косули **pajɜ* [Хелимский, 1986, 132, 131], горного козла **mint̪ɜ*³. Судя по последним двум зоонимам, следует думать, скорее, о южной и близкой к предгорьям полосе тайги.

Сказанное, конечно, не исключает возможности самодийского происхождения каких-то тундровых или степных культур III—I тысячелетий до н.э. Однако их создателями могли явиться разве что покинувшие свой таежный хабитат и впоследствии исчезнувшие филиации ("парасамодийцы"), но не прямые языковые предки исторически из-

³Название горного козла реконструируется на основе сравнения камас. (*Donner*) *muni* и матор. (Спасский) *мундо*.

вестных самодийских народов. Поэтому для решительных утверждений такого рода требовались бы веские свидетельства об этнической (resp. языковой) принадлежности носителей соответствующих культур⁴. В отсутствие же подобных свидетельств приходится квалифицировать как по меньшей мере неосторожные предположения о самодийском происхождении находок эпохи бронзы (II тысячелетие до н.э.) на юге Ямала и в районе устья Таза [Хлобыстин, 1969, 134], усть-полуйской культуры рубежа новой эры в низовьях Оби [Могильников, 1983, 83]⁵.

С точки зрения проблем самодийского глотто- и этногенеза существенны также некоторые данные о материальной и духовной культуре прасамодийцев, верифицируемые посредством лингвистической реконструкции и этнографической ретроспективы. Не вызывает сомнений существование у прасамодийцев развитого оленеводства, ср. восходящие к праязыку названия домашнего оленя (**teə* или, скорее, **ceə* — в последнем случае из самодийского источника заимствовано или опосредованно связано с ним монг. **ča* 'домашний олень', важенки (**jekcɤ*), теленка оленя (**carkɤjɜ*), кастрированного оленя (**kaptə*). Скорее всего, самодийское оленеводство явилось продуктом относительно самостоятельной эволюции, а не переноса навыков коневодства и молочного животноводства (как это можно предполагать в случае с тунгусским оленеводством). Достаточно тривиальны (в свете данных этнографии современных самодийцев) лексические указания на другие аспекты хозяйства и быта: использование лука и копья, ловушек и силков, рыболовных снастей (при важной роли заповного рыболовства), скребков для выделки шкур, многообразных берестяных сосудов, лыж (ошкуренных и голиц), саней, чума (в том числе с берестяными покрышками), небольших помещений складского назначения (лабазов) и т.д. В основном соответствующий материал приведен Ю. Янхуненом в SW. Дополнительное привлечение данных маторского языка (см.: [Хелимский, 1986; Helimski, 1987]) позволяет пополнить фонд реконструируемой прасамодийской культурной лексики обозначениями тупоконечной стрелы (**muŋkə*), остроги (**wikzra*), рыболовного запора (**juɤj*), верши (**kəŋd̥r*), сосуда для жидкостей из мочевого пузыря оленя (**səpɔj*), одного из видов саней (**d̥i'd̥*), покрышки чума (**hakə*¹), дымового отверстия в чуме (**sarw¹a*), лабаза на четырех столбах (**pare*).

Прасамодийское происхождение обозначений небесного божества-демиурга (**num*), идолов (**kajkə*), шамана (**i'acɤ pɤ*), а также таких атрибутов и понятий шаманства, как бубен (**peŋkir*), колотушка шамана (**peŋkəpsɜ*-), 'исполнять шаманские песнопения' (**sampə*-), 'жертва' (**kaso(j)*), свидетельствует об арханчности тех религиозно-мифо-

⁴О непригодности или ненадежности таких археолого-этнографических признаков, как погребальный обряд или тип керамической орнаментации, в качестве этнических показателей (применительно к западносибирскому материалу) см., например: [Матющенко, 1983].

⁵Ср. мнение о преемственности культур приморско-тундренного населения западного сектора Арктики (от Кольского полуострова до устья Енисея) от арктического палеолита до так называемого сихиртя нового времени [Крупник, 1981].

логических систем, где хорошо сохранена соответствующая номенклатура, в первую очередь ненецкой, селькупской и маторской (сведения о последней ограничиваются, к сожалению, этой номенклатурой). С опорой на эти системы восстанавливается прасамодийская мифологическая картина мира, построенная на троичной оппозиции верхнего (небесного, божественного), среднего (земного, человеческого) и нижнего (подземного, покойнического) миров, которые соотносены с триадой главных персонажей пантеона: небесный демиург, земная старуха — покровительница рожениц, подземный властелин зла и смерти; на прасамодийский уровень экстраполируется ряд тем и сюжетов мифологии [Хелимский, 1982а]. Особое положение занимает религиозно-мифологическая система нганасан с характерными для нее культом матерей природы и тенденцией к целостному (слабо структурированному на уровне бинарных или тернарных оппозиций) восприятию мироздания, что отражает, в частности, некоторая размытость грани между жизнью и смертью в традиционном мировоззрении нганасан [Грачева, 1983]. Поскольку при этом заметная часть соответствующей нганасанской лексики также невозводима к самодийским прототипам (ср. нган. *пиз* 'бог', *пэ?* 'шаман' при отсутствии рефлексов ПС **nit*, **t'asʏrʏ* и т.д.), эту систему следует, видимо, связывать главным образом с субстратным пластом нганасанского лингвоэтногенеза (см. ниже) и лишь с большой осторожностью привлекать в прасамодийских мифологических реконструкциях. Аналогичное субстратное — или же прямое нганасанское — влияние отчасти испытала и энецкая система.

Внешние связи самодийского праязыка. Наличие общих изоглосс фонетического развития (**s*, **ʃ* > **ʃ* > **t*; **ʃ* > **s*) позволило предположить, что сохраняющийся — с более или менее значительными трансформациями — до наших дней ареал самодийско-угорского языкового контактирования сформировался не позднее середины I тысячелетия до н.э. — времени распада угорской языковой общности и выхода правенгров из данного ареала. В пределах этого же ареала могли находиться и енисейскоязычные пумпокольцы⁶ [Хелимский, 1982, 119—125]. Представляется естественным локализовать этот ареал применительно к I тысячелетию до н.э. в окрестностях Обь-Иртышья, отводя уграм его западную часть (по мнению ряда современных исследователей, их прародина находилась в лесостепях и южной части тайги между Уралом и Обью, см.: [Fodor, 1982, 111—124; Honti, 1982, 13—17]), а самодийцы — восточную. Нужно подчеркнуть, что тем самым мы фиксируем только дату *post quem* для угорско-самодийских контактов; однако ничто не мешает думать, что в той или иной мере контактные связи существовали и ранее, в течение едва ли не всего прасамодийского периода. К сожалению, состояние разработки исторической фонетики угорских и са-

⁶С соответствующим контактным взаимодействием связано, вероятно, проникновение отдельных древнейших енисейских заимствований в обско-угорские языки, ср. манс. **kēp*, хант. **kar* 'лодка, челнок' из енис. **qā(?)p* [Хелимский, 1982б, 243].

модийских языков пока еще таково, что отграничение исконно общего (уральского) фонда от древнейших взаимных заимствований не представляется возможным; остается лишь надеяться, что эти трудности будут рано или поздно преодолены и изучение контактов между прасамодийцами и прауграми (ряд гипотез о таких контактах высказан археологами) встанет на более прочные основания.

Установление самодийско-тюркских языковых связей, следует полагать, предшествовало разделению прототюркского языка на "общетюркскую" и болгарскую ветви (происшедшему, вероятно, в первые века новой эры), однако оснований для датировки этих связей существенно более ранним периодом — например, началом I тысячелетия до н.э. — как будто нет⁷. Контакты могли возникнуть в результате продвижения тюрков на север, в степную и лесостепную зону Западной Сибири. Аргументом в пользу такого предположения служат, в частности, два вероятных самодийских заимствования в тюркских языках: тюрк. **kil'* (> **kiš*) 'соболь' < ПС **ki* (ранне ПС **kil'* < ПУ **kādδ'wā?*) и тюрк. **kaδu* 'сосна' (см. выше). Обратные заимствования — из прототюркского в прасамодийский — нередко носят культурный характер (ПС **jur* 'сто' < тюрк. **juř*; ПС **ken* 'ножны' < тюрк. **kyn* и др.).

Особо важное значение для праисторической реконструкции имеют данные о прасамодийско-пратунгусо-маньчжурских языковых связях. Об их интенсивности свидетельствуют как количество параллелей в лексике обоих праязыков (по-видимому, не менее 70; частично см.: [Хелимский, 1985]), так и общность заметной части базисной, слабо проницаемой для заимствований лексики: ср. ПС **kajwā* 'бок, сторона' и **kajwata* ребро ~ ПТМ **xew* и **xewie* (ТМС 2: 435—436); ПСС **peja* 'лоб' ~ ПТМ **pēje* (ТМС 2: 361); ПС **tāncəz* 'смотреть' ~ ПТМ **munsi-* (ТМС 1: 556) и др. Установление контактов могло явиться следствием продвижения самодийцев на восток. Во всяком случае, выйдя к Енисею, они уже застали там тунгусоязычное население: на это указывает ПС **Jentāsŷ* 'Енисей' (нен. *Jen(ā)sa jam?*, энецк. *D'edoši?*, нган. *D'entād'ia*, селькуп. *NP Nandesī* — последняя форма отражает влияние языка типа камасинского), которое заимствовано из ПТМ **Jendesi* (эвенк. *Jendeŷi*, *Jendreŷi*, в записях XVIII в. *Ioandesī*; ср. ПТМ **jenē*/**jeñē* 'большая река', см. ТМС 1: 355). Данный гидроним особенно значим для оценки дальнейших судеб самодийских языков и их диалектов. Сохранение заимствованного в праязыковую эпоху названия Енисея с его исходной географической соотносительностью было бы нереальным при удалении от этой реки в ходе дальнейших миграций — ср. судьбу ПС **Jentāsŷ* в тазовском диалекте селькупского языка, где его рефлекс *čōnti's* означает 'море' и встречается в фольклоре как типичное место сказочного действия (прев-

⁷ Исследователи, предполагающие первичность тюркских сибилантов (*z, *ʃ) по отношению к плавным (r, l) — например, А. Рона-Таш и Ю. Янхунен — полагают, что самодийский праязык контактировал только с тюркским языком болгарского типа, и отводят для этих контактов узкий интервал в несколько столетий на рубеже новой эры [Róna-Tas, 1980]. Такая трактовка представляется весьма спорной, так как никаких прямых следов этот язык болгарского типа в Сибири и вообще в Азии не оставил.

ращение названия Енисея в географическую мифологию предшествовало повторному выходу северных селькупов на Енисей через Обь, Тым и Вах), или в лесном диалекте ненецкого языка, где это название было перенесено на Иртыш или Конду, ср. *Jenša karbat* 'Кондинск'. Это ведет к следующим вероятным импликациям: а) к моменту распада общности прародина самодийцев или включала в себя часть бассейна Енисея, или, во всяком случае, примыкала к нему; б) в ходе последующего расселения предки энцев, нганасанов и восточных ненцев никогда не удалялись от Енисея на значительное расстояние — и, вероятнее всего, продвигались на север вдоль течения этой реки.

Относительная — а тем более абсолютная — хронология изменений в самодийском и тунгусо-маньчжурском праязыках изучена пока недостаточно для того, чтобы можно было датировать их контакты. Во всяком случае, начальная стадия одного из таких изменений (ПУ *s, *š > ПС *t, см. также выше) должна быть отнесена не позднее чем к середине I тысячелетия до н.э. В то же время имеются такие заимствования из прасамодийского в пратунгусо-маньчжурский и обратно, которые должны были быть переданы еще до этого изменения. Ср. раннеПС *saja 'палец' (> ПС *taja, ср. матор. *taja*), восходящее к урал. *sul'з и заимствованное в виде ПТМ *saja(n) (ТМС 2: 55); раннеПС *šErз 'родник, ключ' (> ПС *tErз, ср. селькуп. Таз *tērə*), восходящее в ПУ к *šerä или *šärä (см.: [Хелимский, 1976, 131]) и отраженное в ПТМ *sirę или (с учетом š в маньчж. *šeri*) *širę (ТМС 2: 101); раннеПС (?) *salka 'разветвление, развилка' (> ПС *talka), заимствованное, вероятно, из ПТМ *sälga(n) (ТМС 2: 58), связанного с монг. *salga*- 'отделять'.

К монгольскому источнику может быть возведено лишь очень немного прасамодийских слоев. Скорее всего, они проникли через тунгусо-маньчжурское или тюркское посредство: показательны примеры типа ПС *toə- 'считать', *ton (*toən ?) 'число' (> 'сто') из монг. *to-ya(n)* 'число', *to-ya-la-* 'считать' при наличии тюрк. *tō* 'число', 'счет', маньчж. *ton* 'число' и т.д. Характер ранних монголо-самодийских связей получает достаточно естественное объяснение из предположения о том, что территория расселения прамонголов (Восточная Монголия ?) была отделена от прасамодийской области территориями с пратюркским и пратунгусо-маньчжурским населением. Что касается тунгусо-маньчжурской прародины, то ее в эпоху перед распадом праязыковой общности (первые века новой эры; глоттохронология указывает приблизительно на V в. н.э.) принято локализовать в Прибайкалье, включая его западную часть. Распространение тунгусо-маньчжурских языков на Дальнем Востоке, от Охотского побережья до Маньчжурии, явилось результатом ряда однонаправленных миграционных волн, причем следует полагать, что в I тысячелетии до н.э. западнее Байкала до Енисея жили предки не только эвенков, но и "восточных" тунгусов, в языках которых обнаруживаются многочисленные самодийские заимствования праязыковой эпохи. Разумеется, при рассмотрении вопросов о древнейшем расселении тунгусо-маньчжуров следует учитывать их традиционную чрезвычайно высокую подвижность и говорить не столько об *Urheimat*, сколько — по удачному

выражению К. Менгеса — об Urwandergebiet [Menges, 1968, 4 ff.].

Имеется обширный лингвистический материал, свидетельствующий о сильном культурном влиянии иранских ("скифских" в Европе, андроновских в Зауралье) племен на их северных соседей — финно-угров; в частности, в обско-угорских языках представлено свыше 40 иранских заимствований. С этим контрастирует весьма незначительная даже в свете новейших специальных изысканий [Janhunen, 1983] роль иранизмов в самодийском праязыке. Вряд ли удастся существенно расширить и "корпус" тохарско-самодийских этимологий в этой же работе Ю. Янхунена, включающий два проблематичных сближения. Видимо, на всех этапах своей истории прасамодийцы находились если и не на очень большом удалении, то, во всяком случае, в стороне от районов расселения индоевропейских племен, воспринимая их культурное влияние лишь эпизодически и, вероятно, опосредованно.

Не будет излишним высказать и некоторые соображения "негативного" свойства, касающиеся таких внешних связей прасамодийской эпохи (и соответствующих событий в самодийской праистории), которые мыслимы в принципе или же предполагались кем-либо из исследователей, но, как нам кажется, не находят подтверждения в имеющемся лингвистическом материале.

Хотя юкагирский язык находится в несомненном родстве с уральскими и из всех уральских языков самодийские наиболее близки ему территориально, нет, по-видимому, оснований констатировать какие-то специфически тесные юкагирско-самодийские языковые (и этнические) связи, по крайней мере применительно к периоду, последовавшему за отделением самодийского праязыка от финно-угорского.

Ненадежными представляются и основания для того, чтобы постулировать "особые отношения" самодийских языков (взятых в целом) и саамского языка. Значительная и наиболее интересная часть саамско-самодийских лексических параллелей, послуживших опорой для гипотезы о самоедоязычности протосаамов [Toivonen, 1950], ограничена с самодийской стороны ненецким языком и находит объяснение в фактах относительно поздней этнической истории ненцев.

Не выдерживают критики аргументы, выдвигающиеся в пользу предположения о существовании непосредственных контактов между правенграми (уже после их отделения от предков обских угров) и самодийцами [Моог, 1959; ср.: Хелимский, 1982, 52—56].

Остались неубедительными попытки истолковать отдельные топонимы Прикамья и Русского Севера исходя из самодийских языков ([Беккер, 1970; Кривошекова-Гантман, 1973]; см. также работы М.Г. Атаманова), обнаружив тем самым следы каких-то древних миграций самодийцев. Мы склонны думать, что продвижение ненцев в европейскую тундру было единственной этнически релевантной миграцией самодийцев в районы к западу от Урала за несколько последних тысячелетий. Не исключено, конечно, что отдельные группы самодийцев были вовлечены в великие переселения из Центральной Азии на запад, но уделом таких групп, скорее всего, была быстрая и бесследная ассимиляция.

Удовлетворительных этимологий, связывающих самодийский язык с такими языковыми группами Восточной Сибири, как чукотско-камчатская, эскалеутская, нивхская, почти нет; из отдельных сходств рискованно было бы делать какие-либо выводы. Впрочем, прогресс исследований в этих слабо разработанных сферах этимологического поиска может привести и к позитивным заключениям о роли восточных "палеоазиатов" в этнической истории самодийцев.

Прародина самодийцев накануне эпохи распада. Совокупность данных, изложенных выше, характеризует самодийцев второй половины I тысячелетия до н.э. как народ, этническая территория которого: а) полностью или значительной своей частью находилась в таежной зоне; б) включала в себя часть бассейна Енисея или примыкала к нему; в) непосредственно соприкасалась с областями расселения обских угров, енисейцев, тюрков и тунгусо-маньчжуров; г) находилась от областей расселения монголов и иранцев (а тем более других индоевропейцев) на известном отдалении, допуская лишь слабые или опосредованные контакты; д) вряд ли могла примыкать к областям расселения европейских финно-угров, правенгров, а также, с другой стороны, юкагиров и восточных "палеоазиатов". На основании этого и с учетом наиболее вероятных локализаций прародин других народов представляется оправданным помещение самодийской прародины в регионе между Средней Обью и Енисеем, ориентировочно — вокруг четырехугольника "Нарым — Томск — Красноярск — Енисейск". Естественно, если территория поздней самодийской прародины была достаточно велика (что вполне вероятно), то она могла включать, полностью или частично, и ряд сопредельных регионов: северную часть Обь-Иртышского междуречья, северный Алтай, Присаянье, территории к востоку от Среднего Енисея, бассейны Сыма и Ваха. Однако было бы, как кажется, неосторожным ограничивать прародину самодийцев каким-либо из названных сопредельных регионов, например только Саянами или только Прииртышьем. Полностью неприемлемыми представляются гипотезы, локализирующие самодийскую прародину накануне эпохи распада в приполярной Европе⁸ или в Приуралье.

Тем самым предложенная интерпретация лингвистических данных о самодийской прародине не противоречит широко распространенным в археологической литературе последних 15—20 лет предположениям о самодийской принадлежности культур эпохи железа в таежной зоне Западной Сибири, особенно в Томско-Нарымском При-

⁸Эта восходящая к Ф.И. фон Страленбергу гипотеза, по-видимому, уже полностью изжила себя среди археологов и этнографов. Ей не оставляют места и исследования П. Хайду, посвященные этногенезу самодийцев [Hajdú, 1952; 1963]. Однако в лингвистике "приполярно-европейская" гипотеза вновь всплыла в 50-х годах, преимущественно в связи с "протосаамско-самодийской" проблематикой, и дает рецидивы вплоть до настоящего времени (см., например: [Lakó, 1978]). Помимо изложенных здесь соображений данной гипотезе противостоят и сам характер территориального размещения самодийских языков в историческую эпоху: однократная миграция предков северных самодийцев на север представляется несравненно более вероятной, чем три сепаратные миграции (селькупская, камасинская, маторская) из зоны тундры в южном направлении.

обье (ср.: [Косарев, 1974; Могильников, 1983]). Достаточно сложной, однако, остается ситуация с атрибуцией конкретных археологических культур и отдельных памятников: в любом случае самодийцы не были единственным населением рассматриваемого региона. Кроме того, по степени археологической изученности Томская область сильно опережает соседние с ней районы Красноярского края (изучение которых по крайней мере столь же существенно с точки зрения самодийского этногенеза), что объясняется скорее научно-организационными, нежели содержательными причинами.

Предложенная выше локализация самодийской прародины была использована для идентификации самодийцев, с одной стороны, с населением кулайской культуры V в. до н.э. — V в. н.э. в Среднем (Сургутско-Нарымском) Приобье [Чиндина, 1984, 174—175] и, с другой стороны, с населением тагарской культуры VIII в. до н.э. — I в. н.э. в Минусинской котловине [Вадецкая, 1986, 98—99]. Следует заметить, что эти попытки идентификации вряд ли совместимы друг с другом (учитывая резкие различия между двумя культурами). Труднообъяснимыми оказываются также такие факты, как полное отсутствие или незначительная роль оленеводства (столь несомненно характерного для прасамодийцев) и у кулайского, и у тагарского населения, высокоразвитое бронзолитейное производство у кулайцев (эту черту хозяйства можно предполагать скорее у предков енисейских народов, чем у древних самодийцев) и развитое скотоводство в сочетании с примитивным земледелием у тагарцев (что позволяет, с нашей точки зрения, предполагать их принадлежность скорее к алтайскому, нежели к уральскому этнокультурному кругу).

Распад самодийской языковой общности. На основании лексико-статистических подсчетов, верифицированных анализом фонетических, морфологических и лексических параллелей между самодийскими языками и диалектами (на предмет выявления возможных общих инноваций), было предложено отказаться от традиционного деления самодийских языков на северную (ненецкий, энецкий, нганасанский языки) и южную (селькупский, камасинский, карагасский, койбальский, маторский, тайгийский языки) ветви. Новая схема предусматривает выделение четырех самостоятельных ветвей — северносамодийской, селькупской, камасинской (собственно камасинский и койбальский диалекты), маторской (собственно маторский, тайгийский и карагасский диалекты) [Хелимский, 1982, 37—45].

Четыре ветви самодийских языков обладают примерно одинаковой попарной взаимной удаленностью; постепенные переходы от одной ветви к другой и промежуточные ветви (что столь характерно для соотношения финно-угорских языков) не обнаруживаются. В частности, нет оснований говорить о какой-то особой близости двух самодийских языков Присаянья — камасинского и маторского — и выделять соответствующую (под)группу⁹. Отдельные камасинско-матор-

⁹ Тем не менее термин "саяно-самодийские языки" является удобным операционным понятием в связи с общностью внешних влияний на камасинский и маторский языки и их судеб.

ские изоглоссы фонетического развития появились после разделения этих языков и связаны с ареальными процессами, охватившими не только самодийские, но и торкские диалекты Присяянья (ср. развитие $*j > n$ - или n - при наличии носового согласного в позиции второго консонанта слова, характерное для камасинского, маторского и хакасского языков). Многочисленные совпадения в камасинской и маторской лексике — либо общесамодийское наследие, либо результат параллельного воздействия на оба языка соседних тюркских, в меньшей мере монгольских, тунгусо-маньчжурских и енисейских, диалектов. Более того, обнаруживается парадоксально много лексических изоглосс, связывающих маторский язык с северносамодийскими — в противопоставлении селькупскому и камасинскому; ср., с другой стороны, комплекс селькупско-камасинских морфологических параллелей, выделенных А. Кюннапом [Künnap, 1978, 204—208]. Возможно, в этих изоглоссах отражаются диалектные связи прасамодийской эпохи (относительное единство самодийского праязыка, упоминавшееся выше, нельзя абсолютизировать). Такая гипотеза требует, однако, дальнейшей проверки.

Как бы то ни было, в соответствии с общим принципом этноисторической интерпретации диалектологических данных соотношение самодийских языков и их диалектов не позволяет предполагать постепенной дивергенции, связанной с расширением территории распространения их общего праязыка. Скорее, такое соотношение должно быть объяснено относительно быстрым, резким распадом праязыковой общности, до того сравнительно единой. Причиной распада могло явиться, например, вторжение инородного населения, расчленившее территорию расселения самодийцев и оборвавшее связи между отдельными ее частями (вторжение хунну во II в. до н.э.), и/или же появление в самодийской среде неких предпосылок для активной экспансии (развитие транспортного оленеводства?). Возможно, той же причиной была обусловлена миграция предков северных самодийцев, приведшая их в конечном счете в зону тундры, а также оттеснение предков маторов и камасинцев на Саяны (если эта территория не входила в пределы исходной самодийской прародины как одна из ее окраин).

Прасеверносамодийская эпоха. Для соотношения трех языков северносамодийской подгруппы характерна, напротив, известная постепенность межъязыковых переходов, отражающая исходный — сейчас уже нарушившийся — диалектный континуум (см.: [Хелимский, 1982, 27—31, 46]). Это позволяет констатировать, что дивергенция этих языков происходила в основном уже в районах их современного распространения, и не в условиях взаимной изоляции, а при сохранении тесных маргинальных контактов. Очевидно, единый северносамодийский праязык проник в приполярный регион не позднее середины I тысячелетия н.э. (по глоттохронологической оценке, ненецкий и нганасанский языки разошлись более чем 1,5 тыс. лет назад); это согласуется с археологическими данными о появлении в первой половине I тысячелетия н.э. на западе Таймыра населения с юга Западной Сибири [Хлобыстин, 1973]. В материале северносамодий-

ских языков не находят, на наш взгляд, подтверждения гипотезы, которые предполагают существование нескольких разобщенных волн миграции самодийцев на север (см., например: [Хомич, 1966, 37; Васильев, 1979, 40—41]); далеко не бесспорна, впрочем, и историко-этнографическая аргументация, положенная в основу этих гипотез.

Выше в связи с названием Енисея уже отмечалось, что путь северных самодийцев в современные районы расселения пролегал, вероятно, вдоль течения этой реки. Дополнительно в обоснование такого (а не, скажем, приобского) маршрута можно указать на наличие в кетском языке отдельных северносамодийских заимствований, источником которых вряд ли мог явиться один из современных языков этой ветви (так, кет. *b'entš'en* 'легкое' можно возвести к **wäjnšən* или **wäj-ŋtətsən* — производному с суффиксом *nomen instrumenti* **-sən* от ПС **wäjn-* или ПСС **wäjŋtət* 'дыхание', хотя в современных северносамодийских языках такое производное слово не засвидетельствовано). Кроме того, продвижение в зону тундры должно было сопровождаться продолжением интенсивного взаимодействия с тунгусскими племенами. Об этом свидетельствует значительное число тунгусо-маньчжурских заимствований в прасеверносамодийском, среди которых, в частности, представлены названия некоторых специфических циркулярных природных реалий: ПСС **jāŋor* 'тундра' (энецк. *d'eu?*, нган. *jaŋur*) < ПТМ **jaŋ-ur-* (эвенк. *jaŋ* 'сопка-голец', *jaŋurā* 'ровное место на горном хребте, мшистое место', см. ТМС 1: 341); ПСС **karpə* 'северное сияние' (нен. *xarp*, эн. *kabo?* мн. ч.) < ПТМ (ТМС 1: 142), **garpa-* 'стрелять из лука: излучать свет, светить, сиять', **garpa* 'луч'.

Субстратные компоненты в самодийских языках. В предшествующих разделах внешняя история самодийских языков приравнивалась к этнической истории их носителей, языковая преемственность непосредственно отождествлялась с преемственностью этнической. Разумеется, это условность, но условность простибельная, если учесть, что понятие "самодийцы" является, по сути дела, понятием чисто лингвистическим: видимо, не существует таких этнографических признаков и заведомо не существует таких антропологических признаков, которые были бы свойственны всем самодийским народам и одновременно чужды всем их соседям.

Не вызывает, однако, никакого сомнения, что в этногенезе самодийцев — как и любых других этносов — существенное место принадлежало интеграции разнородных в языковом отношении компонентов. Широкую известность приобрела этногоническая концепция выдающегося исследователя самодийских языков Г.Н. Прокофьева, стремившегося наполнить этот тезис конкретным лингвистическим содержанием и разделить собственно самодийские (принесенные, по мнению автора концепции, выходцами из Присаянья) и субстратные (сохранившиеся от аборигенного населения Севера) компоненты в северносамодийских и селькупском языках [Прокофьев, 1940]. Под влиянием популярной в марровскую эпоху методологии Г.Н. Прокофьев сосредоточил свое внимание на выделении якобы первичных элементов в самодийской этнонимии; к сожалению, большинство

предложенных им сближений по созвучию недостоверно или по меньшей мере рискованно¹⁰. Однако сама постановка вопроса об этнической разнородности, обоснованная Г.Н. Прокофьевым на этнографическом и отчасти на лингвистическом (заимствования) материале, представляется полностью справедливой, а поиск субстратных влияний — актуальным и, быть может, перспективным, хотя и мало продвинувшимся вперед за истекшие десятилетия. Неразработанность проблемы имеет вполне объективные основания: языки, непосредственно послужившие источником субстратного влияния, исчезли (в отличие от языков, оказывавших адстратное воздействие) и в лучшем случае оставили более или менее близких языковых родственников. В этой ситуации с позиций прасамодийской реконструкции приходится говорить главным образом не о твердо установленном субстрате, а о "потенциальном субстрате", то есть о лексике самодийских языков, лишенной прасамодийской или внутренней этимологии и не объяснимой из адстратных языков¹¹.

Небезынтересно отметить, что из трех северносамодийских языков потенциально субстратной лексикой наиболее богат нганасанский: подсчет показывает, что неэтимологизируемых именных слов в нем примерно вдвое больше, чем в ненецком или энецком языках. Источник этого субстрата остается загадкой. Речь явно идет не о тунгусо-маньчжурском языке: эвенкийское адстратное (отчасти, возможно, и субстратное) влияние на нганасанский легко выявляется и изучено довольно хорошо (из новейшей литературы см.: [Futaky, 1983]). Никакого сходства неэтимологизируемая нганасанская лексика не обнаруживает и с юкагирским языком, хотя, казалось бы, географическое положение последнего в сочетании с рядом установленных этнографических параллелей (см., например: [Симченко, 1976]) делает его первоочередным "кандидатом" в источники субстрата.

Энецкий язык лексически наиболее архаичен среди северносамодийских — сохранению исконной лексики благоприятствовало его центральное географическое положение. Однако энецкая фонетика претерпела радикальную инновационную перестройку, что создает специфические трудности при этимологизации энецких слов¹². Весьма вероятным выглядит наличие в энецком языке, особенно в его лесном диалекте, енисейского субстрата (или адстрата) — по крайней мере, энецк. *Л бѳ 'он'* и *ѳ 'ты'* имеют несомненно кетское происхож-

¹⁰ Ср.: нен. *ненэ-ЦЯН* ~ нган. *нгана-САН* (самоназвания) ~ кет. *дең 'люди'* ~ селькуп. *ТЫН* кула 'татары' ~ эвенк. *чанит* и *дядн'* 'иноплеменики'; нен. *хаби* 'остяк' ~ селькуп. *кум* и манс. *хум* 'человек'; нен. *мандо* 'энец' ~ *матор* (этноним) ~ селькуп. *матыр* 'богатырь'; энецк. *таубу?* 'нганасаны' ~ *туба, тофа-* (саяно-тюркские этнонимы) ~ селькуп. *тибэ* 'мужчина'; нен. *хасава* 'мужчина' ~ *караГАС* (этноним). Правдоподобие этих сравнений кончается там, где начинается историко-языковой этимологический анализ.

¹¹ Особую, не затронутую здесь сторону проблемы составляет выявление следов субстрата в ономастике, а также в фонетическом и морфосинтаксическом строе самодийских языков.

¹² Ср. судьбу прасеверносамодийского словосочетания **ajwa(n) mir* 'цена головы, (перен.) выкуп', которое в ненецком сохранилось с минимальными фонетическими изменениями (*ḡḡewa-mir?*), но стало практически неузнаваемым в энецк. *āmi?* 'ясак'.

дение; однако, если этот субстрат достаточно древний, "любое" сопоставление энецкой и кетской лексики сильно затруднено.

Известную ясность в вопрос о происхождении потенциально субстратной лексики ненецкого языка вносит реинтерпретация тех саамско-ненецких лексических параллелей, которые выявивший их Ю. Тойвонен объяснял как свидетельство самоедоязычности протосаамов [Toivonen, 1950], а Б. Коллиндер рассматривал в основном как реликты прауральской лексики [Collinder, 1955]. Речь идет главным образом о промыслово-хозяйственных терминах (саам. *đŋŋa* ~ нен. *paŋŋo* 'вид утки'; саам. *guotto* ~ нен. *xädo* 'пастбище') и о названиях некоторых "периферийных" частей тела (саам. *čor'bmđ* ~ нен. *sormuŋk* 'кулак' и др.). Хотя прямые ненецко-саамские языковые контакты в принципе были возможны (скорее всего, в последние века I тысячелетия н.э.), отсутствие соответствий в других самодийских языках (кроме отчасти энецкого) делает маловероятной исконную принадлежность этих слов ненецкому языку, а отсутствие прибалтийско-финских соответствий — их исконно саамское происхождение. Следует думать (вслед за Ю.В. Симченко), что протосаамский язык, то есть язык этнических предков современных саамов, ассимилированных приблизительно в I тысячелетии до н.э. предками прибалтийских финнов¹³, был распространен не только западнее беломорского побережья, где он явился субстратом современных саамских диалектов, но и восточнее, где его носители были поглощены ненцами (не исключено даже, что можно поставить знак равенства между протосаамами и уже упоминавшимися сихиртя). Естественно, "протосаамское" происхождение могут иметь и многие потенциально субстратные ненецкие слова, не находящие саамских параллелей.

Разряд потенциально субстратных слов в селькупском языке, по видимому, довольно мал по сравнению с исконной лексикой и адстратными заимствованиями из хантыйского, эвенкийского, тюркских, монгольского, кетского и некоторых других языков. Если учесть значительную вероятность того, что территория современного расселения южных (обских), кетских и, возможно, нарымско-тымских селькупов оставалась бессменно самоедоязычной еще с прасамодийской эпохи, то в правомерности тезиса Г.Н. Прокофьева о приблизительно равной значимости самодийских и субстратных компонентов применительно к селькупскому этногенезу можно усомниться. В этом пункте результаты лингвистического анализа совпадают с выводами на основе этнографо-археологического материала (ср.: [Васильев, 1983, 6—7]), вселяя надежду на то, что получение идентичных результатов средствами лингвистической реконструкции и этнографической ретроспекции возможно не только теоретически, но и практически.

¹³ Эта традиционная точка зрения, как нам кажется, обладает достаточной объяснительной силой, в том числе и по отношению к возражениям, которые выдвинул против нее Т.-Р. Вийтсо [Viitso, 1983, 270—271].

КОМПАРАТИВИСТИКА И КРЕОЛЬСКИЕ ЯЗЫКИ

Проблема родственных связей креольских языков неоднократно поднималась в лингвистической литературе. Наиболее остро она дискутировалась в 1950-е годы в отношении креольских языков Вест-Индии. Д. Тейлор возродил идеи Г. Шухардта о двойном родстве креольских языков, утверждая, что от одного "родителя" они получают в наследство словарь, а от другого — грамматику [Тейлор, 1972, 492]. Родство первого типа он предлагал называть генетическим, а родство второго типа — глубинным (*basic*). Р. Холл [Холл, 1972] и У. Вайнрайх [Вайнрайх, 1972] не видели достаточных оснований для противопоставления креольских языков языкам другого генезиса и настаивали на их индоевропейском характере. Общие черты креольских языков антильских островов Р. Холл объяснял в первую очередь субстратом, а У. Вайнрайх — конвергентным развитием. Высказывалась и точка зрения о родстве всех креольских языков между собой и возможности возведения общекреольской грамматики к средиземноморской лингва-франка XV столетия [Томпсон, 1972, 484].

Мы рассмотрели родственные связи группы англокреольских языков Меланезии, которую можно назвать неомеланезийской, расширив толкование термина, введенного Р. Холлом для одного из этих языков [Hall, 1955], но не прижившегося в таком значении. К неомеланезийской группе относятся языки ток-писин (Папуа—Новая Гвинея), бислама (Республика Вануату) и неосоломоник (Соломоновы Острова)¹. Эти языки восходят к торговому пиджину бичламар, широко распространившемуся к середине XIX в. в прибрежных районах юго-западной части Тихого океана.

Бичламар окончательно стабилизировался и разделился на местные варианты благодаря широко практиковавшемуся "блэкбердингу", особого рода принудительной контракции меланезийцев для работы на европейских колонизаторов, в первую очередь на сахарных плантациях Квинсленда (Австралия) и Самоа. При этом в Квинсленд в основном завозились рабочие с Новых Гебрид (сейчас — Республика Вануату) и Британских Соломоновых островов, а на Самоа — с архипелага Бисмарка, в первую очередь с Новой Ирландии и севера Новой Британии [Mühlhäusler, 1983, 38—42]. Большая часть этих рабочих возвращалась на родину и использовала в дальнейшем в качестве языка межэтнического общения усвоенный на плантациях пиджин. Креолизация пиджина проходила на трех указанных территориях независимо. На Новой Гвинее повсеместное распространение пиджина и его креолизация начались в период германского господства (1880-е годы — 1914 г.), а на Соломоновых островах и Новых Гебридах влияние английского языка никогда не прекращалось (на Новых Гебридах имело место также известное французское языковое влияние).

¹ Самоназвание креольского языка Соломоновых Островов — пиджин (Pijin).

В период борьбы за независимость креольские языки становятся символом общенационального единства и как "местные", "свои" языки противопоставляются языку белых колонизаторов. С достижением независимости (Папуа—Новая Гвинея — 1975 г., Соломоновы Острова — 1978 г., Новые Гебриды — 1980 г.) они получают официальное признание.

Материал неомеланезийских языков дает некоторые основания для выделения у креольских языков двух "родителей", однако различие между вкладом каждого из них в структуру языка-потомка лежит не в противопоставлении лексического (и фонетического) грамматическому, как полагал Д. Тейлор, а в противопоставлении планов выражения и содержания, материального и структурного.

Фонетические соответствия между неомеланезийскими языками и английским носят регулярный характер. Неоспорима и их лексическая близость, в том числе и в базисной лексике. Но близость эта относится в первую очередь к плану выражения. Структура плана содержания у неомеланезийских языков часто совпадает, противопоставляясь английской. Это касается, пользуясь термином Л. Ельмслева [Ельмслев, 1962], семантических корреляций между разными значениями одной многозначной лексемы и корреляций значений разных лексем в пределах семантического поля.

Приведем несколько примеров семантических соотношений английского и ток-писина (соответствующие лексемы других неомеланезийских языков семантически изоморфны лексемам ток-писина). Русский перевод дается при лексемах с более узким значением:

hair	'волосы'	} gras	brother	'брат'	} brata 'брат (мужчины), сестра (женщины)'
fur	'мех'				
feather	'перья'		sister	'сестра'	
grass	'трава'				sista 'сестра (мужчины), брат (женщины)'
skin	'кожа'	} skin	we	{ yumi mipela	{ 'мы (инклюзивное)' 'мы (эксклюзивное)'
hide	'шкура'				
bark	'кора'				

(be) ill 'болеть'	} dai	right	{ rait 'правый (о руке и т.п.)' stret 'правильный'
(be) unconscious			
'быть без сознания'			
go out (of fire)			
'погаснуть'			
cp. to die 'умереть' — dai pinis.			

Нередко семантическим корреляциям английского в неомеланезийских языках соответствуют реляционно-семантические (текстовые) отношения. Так, английской паре *take* 'уносить' — *bring* 'приносить' в ток-писине соответствует единое понятие "*karim*", при необходимости уточняемое служебными предикативами направления: *karim i go* 'уносить', *karim i kam* 'приносить'. В бислама совершенно аналогично употребляются сочетания *karem i ko* и *karem i kam*.

Изложенные факты особенно примечательны в свете того, что семантические корреляции неомеланезийских языков обычно в точности повторяют корреляции аборигенных языков Океании. Объем значения некоторой нестандартной с точки зрения английского языка неомеланезийской лексемы часто совпадает с какой-то семемой праокеанийского, например *gras*² эквивалентно **pulu, skin* — **kuli, yumi* — **kita, mipela* — **kami* и т.д.

Аналогичное соотношение вклада английского и океанийских языков в структуру англокреольских языков Меланезии наблюдается и за пределами лексики: набор грамматических категорий является по преимуществу океанийским, а формальные средства их выражения имеют в основном английское происхождение. Например, суффикс транзитивности *-Vm* восходит к английскому местоимению *him*, но с содержательной точки зрения соответствует праокеанийскому **aki; kam* и *go*, восходящие к английским глаголам движения, в роли показателей направления действия функционально эквивалентны так называемым дирекционалам **mai* и **atu* праокеанийского.

Фонологические системы и структура слова неомеланезийских языков имеют типично океанийский характер, хотя и без труда выводимы из английских моделей.

Генетические отношения неомеланезийских языков к индоевропейским имеют определенную специфику. Являясь продолжением английского, эти языки не восходят к прагерманскому в том смысле, в каком к нему восходят немецкий или датский.

"Пранеомеланезийский" — торговый пиджин бичламар — закономерным образом унаследовал из английского не более трех-четырёх сотен слов³. В современных креольских языках есть не одна тысяча слов, имеющих регулярные фонетические соответствия с английскими прототипами и формально неотличимых от исконной (унаследованной из пиджина) лексики, но эти слова очевидным образом попали в каждый из неомеланезийских языков независимо в период креолизации и позднее. Тот факт, что языком-источником этих заимствований был английский, вообще говоря, случаен.

Часто отмечается, что при лексико-статистическом сопоставлении креольских языков с языками-предками наблюдаются аномально низкие цифры. Однако еще более примечательно относительно боль-

² Следует сделать одно пояснение. В трактовке А.А. Леонтьева [Дьячков и др., 1981, 38] единицы типа *gras, skin* являются не словами, а лишь элементами "составных слов" типа *gras bilong het* 'волосы на голове', *gras bilong hai* 'брови, ресницы' и т.п., поскольку эти единицы вне указанных сочетаний якобы не встречаются. Напротив, "составные слова" в тексте появляются довольно редко, обычно лишь при необходимости исключить двусмысленность. Ср. следующие примеры: *Mi skelim tasol long gras...* 'Я раздаю эти перья...' [Laycock, 1970, 57] — поскольку говорит птица-казуар, нет нужды уточнять, что она раздает именно перья, а не мех, траву или ресницы; *Oi i holim em long longpela gras bilongen* 'Они привязали его за длинные...' (?) [там же, с. 61]. Наличие прилагательного 'длинный' предопределяет толкование *gras* как 'волосы на голове' и избавляет от необходимости употреблять "составное слово".

³ Здесь под "закономерным наследованием" мы подразумеваем лишь регулярные соответствия плана выражения.

шое лексико-статистическое расхождение между креольскими языками, имеющими заведомо общее происхождение. При сравнении ток-писина, бислама и английского по стословному списку М. Сводеша получены следующие результаты⁴: ток-писин ~ бислама — 80, бислама ~ английский — 77, ток-писин ~ английский — 70.

Эти невысокие показатели объясняются достаточно естественным обстоятельством: в пиджине-праязыке эквиваленты целого ряда единиц списка Сводеша отсутствовали. Обогащение словарного состава бислама во время креолизации происходило при непрекращающемся воздействии максимально престижного английского языка, поэтому бислама и оказался лексически ближе к английскому, чем ток-писин. Таким образом, результат сопоставления ток-писина и английского позволяет сделать более значимые выводы, поскольку число совпадений между бислама и английским завышено в результате заимствований.

Любопытны результаты лексико-статистического сопоставления неомеланезийских языков с другими индоевропейскими⁵. Если в пределах германской группы в традиционном ее объеме число совпадений по стословному списку составляет около 75 (английский ~ датский — 72, английский ~ немецкий — 72, немецкий ~ датский — 77), то результаты сопоставления неомеланезийских языков со всеми языками, кроме английского, значительно более низкие (ток-писин ~ немецкий — 51, бислама ~ немецкий — 58, ток-писин ~ датский — 51, бислама ~ датский — 55). Между представителями отдаленно родственных групп индоевропейских языков число совпадений приближается к 30, неомеланезийские языки опять же резко нарушают картину. Ср. результаты сопоставления по стословному списку лексики английского и неомеланезийских языков с русским и двумя индоиранскими:

	бенгали	таджикский	русский
ток-писин	20	20	21
бислама	22	24	25
английский	26	27	32
русский	27	28	
таджикский	43		

Лексико-статистические отношения между рассматриваемыми языками можно представить в виде схемы (см. с. 104).

Не зная истории формирования неомеланезийских языков, подобную картину можно интерпретировать единственным образом: пранеомеланезийский отделился от общеиндоевропейского ранее расхождения между собой остальных групп, представленных на схеме. Существенная близость неомеланезийского словаря к германскому —

⁴ В качестве английского списка использовался метаязыковой список Сводеша с заменой *thou* на *you*. Материал по ток-писину взят из словаря Ф. Михалича [Mihalic, 1971], по бислама — из словаря Ж. Ги [Guy, 1964]. Неосоломоник не подвергался сравнению из-за недостатка материала.

⁵ Приводимые ниже подсчеты произведены С.А. Старостиным, за что автор приносит ему искреннюю благодарность.

роннего подобия (форма + значение): корреспонденции (генетические схождения. — В.Б.) в этом смысле всегда билатеральны" [Общее языкознание, 1973, 227]. Но в практике сравнительно-исторических исследований форма и значение отнюдь не равноправны — приоритет всегда отдается регулярности соотношения планов выражения сравниваемых языков, план содержания лишь "принимается во внимание". Г.А. Климов справедливо отмечает, что "решающей степенью в доказательстве языкового родства является постулатия именно фонетических корреспонденций" [там же, с. 14]. При этом критерий фонетических соответствий "направляется в своем применении соображениями семантического порядка" [там же; ср. также: Семереньи, 1980, 42—43].

Всякий нерегулярный фонетический переход заслуживает, на взгляд компаративиста, специального объяснения; что же касается семантических изменений, то об их регулярности или нерегулярности вообще нет речи, и допустимость тех или иных переходов значений оценивается "на глаз". При наличии фонетических соответствий исследователь обращается к семантике и интуитивно решает, достаточно ли близки значения двух слов в разных языках, чтобы развиться из одного "празначения". Так, при регулярных фонетических соответствиях пары слов со следующими значениями будут признаны родственными, видимо, любым компаративистом: 'свет' — 'день', 'снег' — 'туман', 'море' — 'штормовая волна', 'нос' — 'клюв'. Напротив, общность происхождения пар типа 'мусор' — 'бедный', 'забор' — 'ребра', 'обезьяна' — 'мальчик', 'ящик' — 'vulva', 'часы' — 'сердце' может быть поставлена под сомнение многими исследователями⁶.

Со времен де Соссюра при изучении семантики в синхронии весьма важное значение придается противопоставлению значения и значимости. Компаративисты оперируют исключительно значением. Задача изучения в этом аспекте значимостей, задача сравнительно-исторического исследования семантических корреляций, насколько известно, попросту не ставилась. Такое положение вещей связано, в частности, с двумя серьезными объективными причинами. Во-первых, степень формализованности семантики (или, точнее, наших представлений о ней) неизмеримо ниже формализованности плана выражения. Во-вторых, компаративистам зачастую приходится иметь дело с лексикографическим материалом такого качества, что сопоставление семантических корреляций невозможно.

Выше продемонстрировано неоспоримое подобие организации семантики в неомеланезийских и океанийских языках. Признать столь разительные схождения лишь типологическими нельзя. Следует ли считать их ареальными? По-видимому, также нет, поскольку ареальные схождения — результат конвергентного развития языков, а неомеланезийские языки получили план содержания в готовом виде еще на уровне "праеомеланезийского" пиджина. Есть все основания

⁶ В обеих группах примеров левый элемент пары представляет собой значение некоторого английского слова, правый — значение, развившееся у происходящего из него слова в языке ток-писин.

утверждать, что если план выражения этих языков возводится через английский к праиндоевропейскому, то план содержания значительной части базисной лексики и многие элементы грамматической семантики могут быть возведены к праокеанийскому.

Л.Г. Герценберг и В.П. Нерознак, определяя взаимоотношение трех основных типов языковых общностей — генетической, типологической, ареальной, указывают, что каждая из них имеет свои типические черты: "либо материальные, сохраняющиеся во времени, либо структурные, либо материальные и структурные, определяемые географически" [Герценберг, Нерознак, 1984, 41]. Иначе говоря, языковые общности классифицируются по двум параметрам: пространственно-временной мотивации схождения и затрагиваемому схождением языковому плану⁷. Учитывая оба параметра, возможные типы языковых общностей можно свести в таблицу:

План языка, в котором отмечается схождение	Пространственно-временная мотивация		
	временная	пространственная	отсутствует
план выражения	A ₁	B ₁	B ₁
план содержания	A ₂	B ₂	B ₂

Вероятно, нет необходимости вводить специальные термины для каждого из шести типов общностей, выделенных в этой таблице, и их разнообразных сочетаний. Но некоторые из них все же требуют более пристального внимания лингвистов. По возможности оставаясь в рамках сложившейся терминологии, мы предлагаем всякую общность типа А называть родственной, всякую общность типа В — ареальной. В едином наименовании для общностей типа В, видимо, нужды нет: В₂ — это типологическая общность, В₁ можно назвать ономастической общностью⁸.

Материал креольских языков позволяет поставить вопрос о необходимости выделения различных типов родства. Родство типа А₁ при отсутствии родства типа А₂ мы предложили называть парagenетическим. Другой тип родства, А₂, но не А₁, мы предлагаем назвать когнатным⁹. Одновременное наличие обоих типов родства — А₁ и А₂ — указывает на генетическую общность. Вопрос о том, считать

⁷ Мы имеем в виду лишь то обстоятельство, что языковые схождения могут затрагивать преимущественно один из двух неразрывно связанных планов языка. В рассмотренных выше примерах схождений между неомеланезийскими и океанийскими языками приоритет принадлежит семантике, но, поскольку речь идет о выражении одной и той же формой нескольких значений, эти схождения затрагивают языковой знак в целом. Было бы абсурдом всерьез рассматривать "схождения", относящиеся исключительно к одному из языковых планов (типа рус. *надо* — япон. *нада* 'открытое море').

⁸ Хотя кроме схождений в звукоподражаниях сюда же относятся и известные схождения в детской лексике, мотивировка которых до конца не ясна.

⁹ От лат. *cognatio* 'кровное родство'.

ли парагенетические отношения разновидностью генетических, остается открытым, хотя большинство компаративистов склонно, вероятно, решить его положительно.

Таким образом, общность неомеланезийских языков с индоевропейскими мы предлагаем называть парагенетической, а с океанийскими — когнатной.

Полученные результаты могли бы оказаться полезными при диахроническом изучении тех языковых семей, история которых плохо документирована. Во многих случаях трудно утверждать, что родство тех или иных языков является собственно генетическим, а не парагенетическим. На парагенетическую природу родства может указывать небольшой объем (300—400 единиц) восстановимого словаря праязыка подсемьи, особенно если семантика этих единиц существенно отличается от семантики формально близких единиц в языках других подсемей и в праязыке более высокого ранга. Те же импликации могут иметь и лексико-статистические отклонения рассмотренного выше типа. Сочетание же этих факторов является убедительным свидетельством в пользу парагенетического характера отношений языков.

Поиски когнатного родства — задача крайне трудная, требующая больших теоретических разработок исторической семантики. Но именно на этом пути лингвистика могла бы принести большую пользу истории и этнографии, реконструируя такие древнейшие связи языков и их носителей, которые не выявляются методами традиционной компаративистики.

ВОПРОСЫ РЕКОНСТРУКЦИИ ЛЕКСИЧЕСКОГО СОСТАВА ПРАЯЗЫКОВ

- Мельничук А.С.* О сущности беглого *s* // *Этимология*: 1984. М., 1986.
- Нерознак В.П.* Палеобалканские языки. М., 1978.
- Семереньи О.* Введение в сравнительное языкознание. М., 1980.
- Чекман В.Н.* О рефлексах индоевропейских **k*, **g* в балто-славянском языковом ареале // *Балто-славянские исследования*. М., 1974.
- Hirt H.* Indogermanische Grammatik. Heidelberg, 1927. T. 1.
- Karstien H.* Infixe im Indogermanischen. Heidelberg, 1971.
- Machek V.* Etymologický slovník jazyka českého. Praha, 1971.
- Pokorny J.* Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern; München, 1959—1969. Bd. I—II.
- Stang Chr.S.* L'alternance des consonnes sourdes et sonores en indo-européen // *To Honor of Roman Jakobson*. The Hague; Paris, 1967.
- Swadesh M.* The problem of consonantal doublets in Indo-European // *Word*. 1970. Vol. 26, N 1.

РЕКОНСТРУКЦИЯ КАРПАТСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ПОЗДНЕПРАСЛАВЯНСКОГО ЛЕКСИЧЕСКОГО ФОНДА

- Баришић Ф.* О најстаријој прокопијевој вести о славенима // *Зборник радова Византолошког института*. Београд, 1953. Књ. 2.
- Бернштейн С.Б.* Некоторые проблемы сравнительно-исторического изучения славянских языков // *Актуальные проблемы славяноведения*. М., 1961.
- Бернштейн С.Б.* Карпатский диалектологический атлас // *ВЯ*. 1963. № 4.
- Бернштейн С.Б.* К изучению польско-южнотрансильванских языковых связей // *Studia z filologii polskiej a słowiańskiej*. 5. W-wa, 1965.
- Бернштейн С.Б.* Введение // *Карпатский диалектологический атлас*. М., 1967.
- Бернштейн С.Б.* Проблемы карпатского языкознания // *Карпатская диалектология и ономастика*. М., 1972.
- Бернштейн С.Б.* Проблемы интерференции языков карпато-дунайского ареала в свете данных сравнительной диалектологии // *Славянское языкознание: VII Международный съезд славистов (Варшава, август 1973 г.): Докл. сов. делегации*. М., 1973.
- Бернштейн С.Б.* О некоторых итогах и перспективах лингвистических исследований Карпато-Дунайского региона // *Carpatobalcanica*. Bratislava, 1985. [Т.] XIV—1/2.
- Бернштейн С.Б., Клепикова Г.П.* Общекарпатский диалектологический атлас: Принципы. Предварительные итоги // *Славянское языкознание: VIII Международный съезд славистов (Загреб—Любляна, сентябрь 1978 г.): Докл. сов. делегации*. М., 1978.
- Бирнбаум Х.* Праславянский язык: достижения и проблемы в его реконструкции / Пер. с англ. С.Л. Николаева;

- Общ. ред. В.А. Дыбо, В.К. Журавлева. М., 1987.
- Гиндин Л.А. Проблемы славянизации карпато-балканского пространства в свете семантического анализа глаголов обитания у Прокопия Кесарийского // Вестн. древ. истории. 1988. № 2.
- Дзедзеливський Й.О. Лінгвістичний атлас українських народних говорів Закарпатської обл. УРСР: Лексика. Ужгород, 1958—1960. Т. I—II.
- Илиич-Свитыч В.М. Вопросы славянской прародины на IV Международном съезде славистов // ВЯ. 1959. № 3.
- Илиич-Свитыч В.М. Лексический комментарий к карпатской миграции славян // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1960. Т. 19, № 3.
- Илиич-Свитыч В.М. [О совещании, посвященном Карпатскому диалектному атласу в Ужгородском университете. 27 июня — 8 июля 1962 г.] // ВЯ. 1962. № 6.
- Илиич-Свитыч В.М., Венедиктов Г.К. [Рецензия] // ВЯ. 1960. № 3.—Рец. на кн.: Дзедзеливський Й.О. Лінгвістичний атлас українських народних говорів Закарпатської обл. УРСР: Лексика. Ужгород, 1958. Т. I.
- Клепишова Г.П. К проблеме взаимоотношений языков центральной и периферийной зон Балкано-Карпатского ареала // Общеславянский лингвистический атлас: Материалы и исследования. М., 1985.
- Нимчук В.В. Карпатоукраинско-южнославянские языковые параллели и тождества: (история и перспективы проблемы) // Общеславянский лингвистический атлас: Материалы и исследования. М., 1988.
- Порциг В. Членение индоевропейской языковой общности: Пер. с нем. М., 1964.
- Русанова И.П. Славянские древности VI—VII вв. М., 1976.
- Русанова И.П., Тимошук Б.А. Кодын — славянские поселения V—VII вв. н.э. на р. Прут. М., 1984.
- Свод "Древние славяне в памятниках письменности I—VI вв. н.э.". М., 1991.
- Седов В.В. Происхождение и ранняя история славян. М., 1979.
- Седов В.В. Припятское Полесье в славянском этногенезе по археологическим данным // Полесье и этногенез славян: Предварительные материалы и тезисы конференции. М., 1983.
- Трубачев О.Н. О праславянских лексических диалектизмах серболужицких языков // Серболужицкий лингвистический сборник. М., 1963₁.
- Трубачев О.Н. Этимологический словарь славянских языков: Проспект. Пробные статьи. М., 1963₂.
- Трубачев О.Н. О составе праславянского словаря: (Проблемы и задачи) // Славянское языкознание: V Международный съезд славистов (София, сентябрь 1963 г.): Докл. сов. делегации. М., 1963₃.
- Трубачев О.Н. Наблюдения по этимологии лексических локализов: (Славянские этимологии 48—52) // Этимология: 1972. М., 1974.
- Трубачев О.Н. Ранние славянские этнонимы: I. Славяне и Карпаты // Симпозиум по проблемам карпатского языкознания. М., 1973.
- Трубачев О.Н. [Рецензия] // Этимология: 1980. М., 1982. — Рец. на кн.: Udolph J. Studien zu slavischen Gewässernamen und gewässerbezeichnungen. Heidelberg, 1979.
- Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. 2-е изд. М.: Прогресс, 1986—1987. Т. 1—4.
- Birnbaum H., Merrill P.T. Recent advances in the reconstruction of common Slavic (1971—1982). Columbus (Ohio), 1983.
- Lewis Ch., Short Ch. A Latin-English dictionary. Oxford, 1980.
- Udolph J. Studien zu slavischen Gewässernamen und Gewässerbezeichnungen. Heidelberg, 1979₁.
- Udolph J. Zum Stand der Diskussion um die Urheimat der Slaven // Beiträge zur Namenforschung. 1979₂. Bd. 14, H. 1.
- Walde A. Lateinisches etymologisches Wörterbuch / 3 Aufl. von J.B. Hofmann. Heidelberg, 1938. Bd. I—II.

К ПРОБЛЕМЕ РЕКОНСТРУКЦИИ НА ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОМ УРОВНЕ (НА МАТЕРИАЛЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЯЗЫКА)

- Банер В.* Ономаσιологические особенности развития латинских элементов румынской лексики // Общее и романское языкознание. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1972.
- Бенвенист Э.* Общая лингвистика. М.: Прогресс, 1974.
- Блумфилд Л.* Язык. М.: Прогресс, 1968.
- Будагов Р.А.* Сравнительно-семасиологические исследования: (романские языки). М.: Изд-во Моск. ун-та, 1963.
- Егоров В.Г.* Этимологический словарь чувашского языка. Чебоксары, 1964.
- Звегинцев В.А.* Новые черты современного языкознания // Новое в лингвистике. М.: Прогресс, 1965. Вып. 4.
- Климов Г.А.* Реконструкция и диахроническая интерпретация в компаративистике // ВЯ. 1988. № 3.
- Кононов А.Н.* Грамматика языка тюркских рунических памятников VII—IX вв. Л.: Наука, 1980.
- Курилович Е.* О методах внутренней реконструкции // Новое в лингвистике. М.: Прогресс, 1965. Вып. 4.
- Макаев Э.А.* Структура слова в индоевропейских и германских языках. М.: Наука, 1970.
- Макаев Э.А.* Общая теория сравнительного языкознания. М.: Наука, 1977.
- Милитарев А.Ю.* Данные лингвистической реконструкции для дописьменной истории: Докл. на II Всесоюз. конф. востоковедов. Баку, 1983.
- Севортян Э.В.* Аффиксы глаголообразования в азербайджанском языке. М.: Наука, 1962.
- Севортян Э.В.* Этимологический словарь тюркских языков: (Общетюркские и межтюркские основы на гласные). М.: Наука, 1974.
- Севортян Э.В.* Этимологический словарь тюркских языков: (Общетюркские и межтюркские основы на буквы В, Г, Д). М.: Наука, 1980.
- Серебренников Б.А.* Методика лингвогенетических исследований // Общее языкознание. М.: Наука, 1973.
- Трубецкой Н.С.* Мысли об индоевропейской проблеме // ВЯ. 1958. № 1.
- Шербак А.М.* Сравнительная фонетика тюркских языков. Л.: Наука, 1970.
- Baldinger K.* Vom Affektwort zum Normalwort // Etymologica Walter von Wartburg zum siebzigsten Geburtstag. Tübingen, 1958.
- Clauson G.* An etymological dictionary of pre-thirteenth century Turkish. Oxford, 1972.
- Doerfer G.* Proto-Turkic reconstruction problems // Turk Dila Arastirmalari Yelligi. Bulletin 1975—1976. Ankara, 1976.
- Kurhovicz J.* The inflectional categories of Indo-European. Heidelberg, 1964.
- Müller F.M.* Lectures on science of language. L., 1871.
- Räsänen M.* Versuch eines Etymologischen Wörterbuchs der Türkischen Sprachen. Helsinki, 1969.

ПРОБЛЕМЫ РЕКОНСТРУКЦИИ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО ПОЭТИЧЕСКОГО ЯЗЫКА

- Герценберг Л.Г.* Вопросы реконструкции индоевропейской просодики. Л., 1981.
- Елизаренкова Т.Я., Топоров В.Н.* Древнеиндийская поэтика и ее индоевропейские истоки // Литература и культура древней и средневековой Индии. М., 1979.
- Иванов Вяч. Вс.* Происхождение древнегреческих эпических формул и метрических схем текстов // Структура текста. М., 1980.
- Калыгин В.П.* Язык древнейшей ирландской поэзии. М., 1986.
- Нерознак В.П.* Палеобалканские языки. М., 1978.
- Соссюр Ф. де.* Труды по языкознанию. М., 1977.
- Топоров В.Н.* Об одном примере звукового символизма // Труды по знаковым системам. Тарту, 1965. Т. 2.
- Топоров В.Н.* Славянские комментарии к нескольким латинским архаизмам // Этимология: 1972. М., 1974.
- Тронский И.М.* Вопросы языкового развития в античном обществе. Л. 1973.
- Albano Leoni F.* Quelques observations sur la

- Indogermanische Dichtersprache // *Studia linguistica*. 1968. Vol. 22/II.
- Benveniste E.* Vocabulaire des institutions indo-européennes. P., 1970. T. 1,2.
- Campanile E.* Indogermanische Metrik und altirische Metrik // *Zeitschrift für celtische Philologie*. 1979. Bd. 37.
- Dillon M.* Celts and Aryans. Simla, 1975.
- Kruta V.* Les Celtes. P., 1976.
- Meid W.* Figura e funzioni dei poeti nella primitiva cultura indoeuropea // *Paleontologia linguistica*. Brescia, 1977.
- Meillet A.* Origines indo-européennes des mètres grecques. P., 1923.
- Meyer K.* Miscelanea hibernica. Illinois, 1917.
- Schmitt R.* Dichtung und Dichtersprache in indogermanische Zeit. Wiesbaden, 1967.
- Thieme P.* The comparative method for reconstruction in linguistics // *Language and culture in society* / Ed. by D. Hymes. New York; Evanston; London, 1964.
- Vendryes J.* Les correspondances de vocabulaire entre l'indo-iranien et l'italo-celtique // *MSL*. 1918. T. 20.
- Vendryes J.* A propos de la racine germanique *tend-'allumer, bruler' // *Vendryes J. Choix d'études linguistiques et celtiques*. P. 1952.
- Watkins C.* Indo-European metrics and archaic Irish verse // *Celtica*. 1963. Vol. 6.
- Watkins C.* The etymology of Irish dúan // *Celtica*. 1976. Vol. 11.
- Watkins C.* Is tre fir flathemon: Marginalia to Audacht Morainn // *Eriu*. 1979. Vol. 30.
- Wunderli P. F.* de Saussure and die Anagramme. Tübingen, 1972.

ПАЛЕОБАЛКАНСКИЕ ЭТНИЧЕСКИЕ СВЯЗИ ПО ДАННЫМ ФРИГИЙСКОЙ ЛЕКСИКИ

- Гамкрелидзе Т.В., Наанов Вяч. Вс.* Индо-европейский язык и индоевропейцы. Тбилиси, 1984. Т. 1,2.
- Гиндин Л.А.* Язык древнейшего населения юга Балканского полуострова. М., 1967.
- Откупщиков Ю.В.* Карийские надписи Африки. Л., 1966.
- Откупщиков Ю.В.* Догреческий субстрат. Л., 1988.
- Широков О.С.* Реконструкция праязыка-

вых изоглосс общиндоевропейского диалектного континуума // Сравнительно-историческое изучение языков разных семей: Теория лингвистической реконструкции. М., 1988.

- Diakonoff I.M., Neroznak V.P.* [Дьяконов И.М., Нерознак В.П.] Phrygian. N.Y., 1985.
- Haas O.* Die phrygische Sprache im Lichte der Glossen und Namen // Балканско езикознание II. София, 1960.

К РЕКОНСТРУКЦИИ ЯЗЫКОВОЙ СИТУАЦИИ В ВОСТОЧНОМ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ II ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ ДО Н.Э. (ЯЗЫКОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ "НАРОДОВ МОРЯ")

- Гамкрелидзе Т.В.* К вопросу о системе смычных и фрикативных "минойского" языка по показаниям греческой линейной письменности класса В // ВЯ. 1988. № 1.
- Гиндин Л.А.* Древнейшая ономастика Восточных Балкан: Фрако-хетто-лувийские и фрако-малоазийские изоглоссы. София, 1981.
- Дьяконов И.М.* Типы этнических передвижений в ранней древности // Древний Восток. Ереван, 1983. Вып. 4.
- Дьяконов И.М., Милитарев А.Ю., Порхомовский В.Я., Столбова О.В.* Общеафризийская фонологическая система // Африканское историческое языкознание. М., 1987.

- Молчанов А.А.* Минойский язык: Проблемы и факты // Античная балканистика. М., 1987.
- Немировский А.Н.* Этруски: От мифа к реальности. М., 1983.
- Откупщиков Ю.В.* Догреческий субстрат: У истоков европейской цивилизации. Л., 1988.
- Путешествие Ун-Амуна в Библ / Изд. текста и исслед. М.А. Коростовцева. М., 1960.
- Сергеев В.М.* К вопросу о фонетической структуре языка линейного А // Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока. М., 1984. Ч. 1.
- Цымбурский В.Л.* Троянская Ликия и проблема этногенеза ликийцев // Лин-

- гвистическая реконструкция и древнейшая история Востока. М., 1984. Ч. 1.
- Albright W.F.* Some oriental glosses on the Homeric problem // *AJA*. 1950. Vol. 54, N 3.
- Bonfante G.* Who were the Philistines? // *AJA*. 1946. Vol. 50, N 2.
- Bonfante G.* Tityros e Satyros // *Atti della Accademia nazionale dei Lincei / Rendiconti. Cl. di scienze morali, storiche e filologiche*. 1984. Vol. 39, fasc. 5—6.
- Deger-Jalkotzy S.* Fremde Zuwanderer im spatmykenischen Griechenland. Wien, 1977.
- Detschew D.* Die thrakischen Sprachreste. Wien, 1957.
- Dothan T.* The Philistines and their material culture. New Haven; London; Jerusalem, 1982.
- Georgiev V.* Sur l'origine et la langue des pélasges, des philistines, des danaens et des achéens // *Jahrbuch für kleinasiatische Forschung*. 1950. Bd. 1, H. 2.
- Goedike H.* The report of Wenamun. Baltimore; London, 1975.
- Green M.* *M-k-m-r* und *W-r-k-t-r* in der Wenamun-Geschichte // *Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde*. 1986. Bd. 113, H. 2.
- Gusmani R.* Il lessico ittito. Napoli, 1968.
- Helck W.* Die Beziehungen Ägyptens und Vorderasiens zur Agäis bis ins 7. Jahrhundert v. Chr. Darmstadt, 1979.
- Höbl G.* Die historischen Aussagen der ägyptischen Seevölkerinschriften // *Griechenland, die Agäis und die Levante während der "Dark Ages"*. Wien, 1983.
- Hubschmid J.* Paläosardische Ortsnamen // *Atti e memorie del 7. Congresso internazionale di scienze ononastiche*. Firenze, 1963. Vol. 2.
- Kempinski A.* Some Philistine names from the kingdom of Gaza // *IEJ*. 1987. Vol. 37, N 1.
- Kretschmer P.* Einleitung in die Geschichte der griechischen Sprache. Göttingen, 1896.
- Lehmann G.A.* Die "Seevölker"-Herrschaften an der Levantenküste // *Jahresbericht des Instituts für Vorgeschichte*, 1976. Frankfurt a. M., 1977.
- Lehmann G.A.* Die Sikalaju — ein neues Zeugnis zu den "Seevölker"-Herrschaften im späten 13. Jahrhundert v. Chr. // *Ugarit-Forschungen*. 1979. Bd. II.
- Merlingen W.* Eine ältere Lehnwörterschicht im Griechischen. Wien, 1963—1967. Bd. 1—2.
- Naveh J.* The Greek alphabet: New evidence // *BA*. 1980. Vol. 43, N 1.
- Naveh J.* Writing and script in 7th-century B.C.E. Philistia: The new evidence from Tell Jemmeh // *IEJ*. 1985. Vol. 35, N 1.
- Prosdoci A.L.* L'inquadramento indoeuropeo di "veneti" e "vendi" // *Studi slavistici in ricordo di C. Verdiani*. Pisa, 1979.
- Raban A.* The harbor of the Sea peoples at Dor // *BA*. 1987. Vol. 50, N 2.
- Rabin C.* Hittite words in Hebrew // *Orientalia*. 1963. Vol. 32, fasc. 2.
- Risch E.* Die griechischen Dialekte im 2. vorchristlichen Jahrtausend // *Risch E. Kleinere Schriften*. B.; N.Y., 1981.
- Sandars N.K.* The Sea peoples. L., 1978.
- Schachermeyr F.* Die Levante im Zeitalter der Wanderungen. Wien, 1982.
- Schachermeyr F.* Mykene und das Hethiterreich. Wien, 1986.
- Schmoll U.* Die vorgriechischen Sprachen Siziliens. Wiesbaden, 1958.
- Stephens L., Justeson J.S.* Reconstructing "Minoan" phonology // *Transactions of the American Philological Association*. 1978. Vol. 108.
- Zgusta L.* Kleinasiatische Personennamen. Prag, 1964.
- Zgusta L.* Kleinasiatische Ortsnamen. Heidelberg, 1984.

ПРОБЛЕМА РЕКОНСТРУКЦИИ ГРАММАТИЧЕСКИХ ЧЕРТ ХАЗАРСКОГО ЯЗЫКА

- Аппаев А.М.* Дialectы балкарского языка в их отношении к балкарскому литературному языку. Нальчик, 1960.
- Баскаков Н.А.* Об особенностях говора северокавказских туркмен (трукмен) // *Языки Северного Кавказа и Дагестана*. М.; Л., 1949.
- Баскаков Н.А.* Введение в изучение тюркских языков. М., 1969.
- Бунятов З.* Азербайджан в VII—IX вв. Баку, 1965.
- Велиев А.Г.* Переходные говоры азербайджанского языка: Автореф. дис. ... докт. филол. наук. Баку, 1975.
- Гаджиева Н.З., Серебrenников Б.А.* Аральная лингвистика и проблема восстановления некоторых черт исчезнувших языков // *Сов. тюркология*. 1977. № 3.

Говоры муганской группы азербайджанского языка. Баку, 1955.

Джанмавов Ю.Д. Деепричастия в кумыкском литературном языке. М., 1967.

Дмитриев Н.К. Материалы по истории кумыкского языка // Языки Северного Кавказа и Дагестана. М.; Л., 1949.

Исчезнувшие народы. М., 1988.

Калмыкова С.А. Агногайский диалект ногайского языка: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1965.

Керимов Н.А. Очерки кумыкской диалектологии. Махачкала, 1967.

Левитская Л.С. Историческая морфология чувашского языка. М., 1976.

Мусаев К.М. Грамматика каранского языка. М., 1964.

Пашаев Г.М. Фонетика керкукского диа-

лекта: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Баку, 1969.

Плетнева С.А. Хазары. М., 1976.

Рустамов Р.А. Глагол в диалектах и говорах азербайджанского языка: Автореф. дис. ... докт. филол. наук. Баку, 1946.

Рустамов Р.А. Губа диалекти. Баку, 1961.

Рустамов Р.А. Азербайжан дили диалект вэ шивэлэриндэ Фе'л. Баку, 1965.

Серебренников Б.А. О некоторых трудных проблемах исторической грамматики тюркских языков // Сов. тюркология. 1979. № 3.

Goldin P.B. Hazar Studien. Budapest, 1980.

Ritter H. Aserbeidschanische Texte zur nordpersischen Volkskunde: Islam. [S.l., 1921]. Bd. 11.

САМОДИЙСКАЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРАИСТОРИЯ САМОДИЙЦЕВ

Беккер Э.Г. О некоторых параллелях в гидронимии Европейского Севера и Западной Сибири // Языки и топонимия Сибири. Томск, 1970. Вып. 2.

Вадецкая Э.Б. Археологические памятники в степях Среднего Енисея. Л., 1986.

Васильев В.И. Проблемы формирования северносамодийских народностей. М., 1979.

Васильев В.И. Основные проблемы формирования и развития самодийских этносов (ненцы, энцы, нганасаны, селькупы) // Проблемы этногенеза и этнической истории самодийских народов: Тез. докл. обл. науч. конф. по этнографии. Омск, 1983.

Вереш П. К вопросу финно-угорской прародины и этногенеза венгров в свете новейших палинологических данных // CIfU-6: Studia Hungarica. Budapest, 1985.

Грачева Г.Н. Традиционное мировоззрение охотников Таймыра (на материалах нганасан XIX — начала XX в.). Л., 1983.

Косарев М.Ф. Древние культуры Томско-Нарымского Приобья. М., 1974.

Кривошекова-Гантман А.С. К вопросу о западносибирском компоненте в топонимии Прикамья // Происхождение аборигенов Сибири и их языков. Томск, 1973.

Крупник И.И. К истории аборигенной приморской культуры в западном секторе Арктики // Методологические аспекты археологических и этнографи-

ческих исследований в Западной Сибири. Томск, 1981.

Матюшенко В.Н. О средствах использования археологических источников для решения проблем этногенеза // Проблемы этногенеза и этнической истории самодийских народов: Тез. докл. обл. науч. конф. по археологии. Омск, 1983.

Могильников В.А. Об этническом составе культур Западной Сибири в эпоху железа // Этнокультурные процессы в Западной Сибири. Томск, 1983.

Прокофьев Г.Н. Этногония народностей Обь-Енисейского бассейна // Сов. этнография. 1940. Т.3.

Симченко Ю.В. Культура охотников на дикого оленя Северной Евразии. М., 1976.

Халиков А.Х. Древняя история Среднего Поволжья. М., 1969.

Хелимский Е.А. О соответствиях уральских а- и е-основ в тазовском диалекте селькупского языка // Сов. финно-угроведение. 1976. XII. № 2.

Хелимский Е.А. Древнейшие венгерско-самодийские языковые параллели: (Лингвистическая и этногенетическая интерпретация). М., 1982.

Хелимский Е.А. Самодийская мифология // Мифы народов мира: Энциклопедия. Т.2. М., 1982а.

Хелимский Е.А. Keto-Uralica // Кетский сборник: Антропология, этнография, мифология, лингвистика. Л., 1982б.

Хелимский Е.А. Самодийско-тунгусские

- лексические связи и их этноисторические импликации // Урало-алтаистика: Археология, этнография, язык. Новосибирск, 1985.
- Хелимский Е.А.** Etymologica I—48: (Материалы по этимологии маторско-тайгиско-карагасского языка) // Nyelvtudományi Közlemenyek. 1986. 88.
- Хлобыстин Л.П.** О расселении предков самодийских народов в эпоху бронзы (II тысячелетие до н.э.) // Материалы конференции "Этногенез народов Северной Азии". Новосибирск, 1969. Вып. 1.
- Хлобыстин Л.П.** Древние культуры Таймыра и крупные этнические общности Сибири // Происхождение аборигенов Сибири и их языков. Томск, 1973.
- Хомич Л.В.** Ненцы: Историко-этнографические очерки. М.; Л., 1966.
- Хотинский Н.А.** Голоцен Северной Евразии. М., 1977.
- Чернецов В.Н.** Этнокультурные ареалы в лесной и субарктической зонах Евразии в эпоху неолита // Проблемы археологии Урала и Сибири. М., 1973.
- Чиндина Л.А.** Древняя история Среднего Приобья в эпоху железа. Томск, 1984.
- Collinder B.** Fenno-Ugric vocabulary: An etymological dictionary of the Uralic languages. Stockholm, 1955.
- Fodor I.** In search of a new homeland: The prehistory of the Hungarian people and the conquest. Budapest, 1982.
- Futaky I.** Zur Frage der nganasanisch-tungusischen Sprachkontakte // Urálistikai tanulmányok I: Hajdú Péter 60. születésnapja tiszteletére. Budapest, 1983.
- Hajdú P.** A szamojedok etnogeneziséhez // Nyelvtudományi Közlemenyek. 1952. 54.
- Hajdú P.** The Samoyed peoples and languages. Bloomington; The Hague, 1963.
- Hajdú P.** Über die alten Siedlungsräume der uralischen Sprachfamilie // ALH. 1964. T. 14.
- Helimski E.** [Хелимский Е.А.] Two Mator-Taigi-Karagas vocabularies from the 18th century // JSFOu. 1987. 81.
- Honti L.** Geschichte des obugrischen Vokalismus der ersten Silbe. Budapest, 1982.
- Janhunen J.** On early Indo-European-Samoyed contacts // Symposium Saeculare Societatis Fenno-Ugricae. Helsinki, 1983 (MSFOu 185).
- Künnap A.** System und Ursprung der kamassischen Flexionssuffixe. II: Verbal-flexion und Verbalnomina. Helsinki, 1978 (MSFOu 164).
- Lakó Gy.** Zu den Beziehungen der Lappen mit den Samojeden // Ural-Altaische Jahrbücher. 1978. Bd. 50.
- Menges K.H.** Tungusen und Ljao. Wiesbaden, 1968.
- Menges K.H.** Dravidian and Altaic // Anthropos. 1977. T. 72.
- Modr E.** Die Ausbildung des urungarischen Volkes im Lichte der Laut- und Wortgeschichte // ALH. 1959. T. 9.
- Rédei K.** Zu den indogermanisch-uralischen Sprachkontakten. Wien, 1986.
- Róna-Tas A.** On the earliest Samoyed-Turkic contacts // Congressus Quintus Internationalis Fenno-Ugristarum. Turku 20—27. VIII. 1980. Pars III: Dissertationes symposiorum linguisticorum. Turku, 1980.
- Toivonen Y.** Zum Problem des Protolappischen. Helsinki, 1950.
- Veres P.** A finnugor őshaza az újabb adatok fényében // Urálistikai tanulmányok 2: Bereczki emlékkönyv. Budapest, 1988.
- Viitso T.-R.** Läänemeresoomlased: Maahõive ja varasaimad kontaktid // Symposium Saeculare Societatis Fenno-Ugricae. Helsinki, 1983 (MSFOu 185).

КОМПАРАТИВИСТИКА И КРЕОЛЬСКИЕ ЯЗЫКИ

- Вайнрайх У.** О совместимости генеалогического родства и конвергентного развития // Новое в лингвистике. М., 1972. Вып. 6.
- Герценберг Л.Г., Нерознак В.П.** Типы языковых общностей: Вопросы теории // Типы языковых общностей и методы их изучения / III Всесоюз. конф. по теорет. вопр. языкознания. Тезисы. М., 1984.
- Дьячкова М.В., Леонтьев А.А., Торсуева Е.И.** Язык ток-писин. М., 1981.
- Ельмслев Л.** Можно ли считать, что значения слов образуют структуру? // Новое в лингвистике. М., 1962. Вып. 2.
- Общее языкознание: Методы лингвистических исследований.** М., 1973.
- Семереньи О.** Введение в сравнительное языкознание. М., 1980.
- Тейлор Д.** О классификации креолизированных языков // Новое в лингвистике. М., 1972. Вып. 6.
- Томпсон Р.** Заметка о некоторых чертах, сближающих креолизированные диалек-

- ты Старого и Нового Света // Новое в лингвистике. М., 1972. Вып. 6.
- Холя Р.А. Креолизованные языки и "генеалогическое родство" // Новое в лингвистике. М., 1972. Вып. 6.
- Guy J.B.M. Handbook of Bichelamar. Canberra, 1964.
- Hall R.A. Jr. "Neo-Melanesian" instead of Pidgin English // Modern Language Notes. 1955. Vol. 30.

- Laycock D. Materials in New Guinea Pidgin. Canberra, 1970.
- Mihalic F. The Jacaranda dictionary and grammar of Melanesian Pidgin. Milton, 1971.
- Mühlhäusler P. Samoan Plantation Pidgin English and the origin of New Guinea Pidgin // The social context of creolization. Ann Arbor, 1983.

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ИСТОЧНИКИ

- | | | | |
|-----------|---|-------|--|
| КАЭС | — Карпатский ареальный этимологический словарь*. | AJA | — American Journal of Archaeology. |
| КДА | — Бернштейн С.Б., Илич-Свитыч В.М., Клепикова Г.П., Попова Т.В., Усачева В.В. Карпатский диалектологический атлас. М., 1967. | ALH | — Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae. |
| ОКДА. | — Общекарпатский диалектологический атлас: Вопросы. М., 1981. | BA | — Biblical Archaeologist. |
| Вопросник | | CIFu | — Congressus internationalis fennougristarum Budapestini habitus. |
| ОКДА | — Общекарпатский диалектологический атлас. М., 1988. Вып. 2; Кишинёв, 1989. Вып. 1. | IEJ | — Israel Exploration Journal. |
| ПС | — См. SP. | JSFOu | — Journal de la Société Finno-Ougrienne. Helsinki. |
| ТМС | — Сравнительный словарь тунгусо-маньчжурских языков. Л., 1975. Т. 1; 1977. Т. 2. | MSFOu | — Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. |
| ЭССЯ | — Этимологический словарь славянских языков: Пра-славянский лексический фонд / Под ред. О.Н. Трубачева. М., 1974—1988. Вып. 1—15. | MSL | — Mémoires de la Société de linguistique de Paris. |
| | | SP | — Słownik prasłowiański Pod red. F. Sławskiego. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1974—1984. T. I—II. |
| | | SW | — Samojedischer Wortschatz. |
| | | UEW | — Uralisches Etymologisches Wörterbuch. |
| | | VEWT | — Versuch eines etymologischen Wörterbuchs der Türk-sprachen. |

*Работа над словарем ведется в Институте славяноведения и балканистики АН СССР.

НАЗВАНИЯ ЯЗЫКОВ И ДИАЛЕКТОВ

авест.	—	авестийский	матор.	—	маторский
агн.	—	агнейский д-т агнео-кучанского	монг.	—	монгольские
азерб.	—	азербайджанский	мор.	—	моравский д-т чешского
англ.	—	английский	н.-в.-нем.	—	нововерхненемецкий
арм.	—	армянский	нган.	—	нганасанский
бойк.	—	бойковский д-т украинского	нен.	—	ненецкий
блр.	—	белорусский	н.-луж.	—	нижнелужицкий
болг.	—	болгарский	полаб.	—	полабский
вед.	—	ведийский	полесск.	—	полесские д-ты белорусского и украинского
венг.	—	венгерский	польск.	—	польский
в.-луж.	—	верхнелужицкий	праслав.	—	праславянский
гот.	—	готский	прус.	—	пруссский
греч.	—	греческий	рум.	—	румынский
греч. аркад.	—	греческий аркадский	рус.	—	русский
греч. гом.	—	греческий гомеровский	с.-хорв.	—	сербохорватский
греч. фессал.	—	греческий фессалийский	саам.	—	саамский
гуцул.	—	гуцульский	селькуп.	—	селькупский
др.-в.-нем.	—	древневерхненемецкий	серб.	—	сербский
др.-евр.	—	древнееврейский	слав.	—	славянские
др.-инд.	—	древнеиндийский	слав.	—	словацкий
др.-ирл.	—	древнеирландский	словен.	—	словенский
др.-исл.	—	древнеисландский	словин.	—	словинский
др.-рус.	—	древнерусский	ср.-н.-нем.	—	средненижненемецкий
енис.	—	енисейские	ст.-кумык.	—	старокумыкский
и.-е.	—	индоевропейские	ст.-польск.	—	старопольский
ион.	—	греческий ионийский	ст.-серб.	—	старосербский
камас.	—	камасинский	ст.-слав.	—	старославянский
карп.-укр.	—	карпатские д-ты украинского	ст.-тюрк.	—	старотюркский
кельт.	—	кельтские	ст.-чеш.	—	старочешский
кет.	—	кетский	тат.	—	татарский
кипр.	—	греческий кипрский	тох.	—	тохарские
коркир.	—	д-т греческого языка о-ва Коркиры	тур.	—	турецкий
куч.	—	кучанский д-т агнео-кучанского	туркм.	—	туркменский
лат.	—	латинский	тюрк.	—	тюркские
лесб.	—	греческий лесбийский	укр.	—	украинский
лит.	—	литовский	урал.	—	уральские
лтш.	—	латышский	фрак.	—	фракийский
макед.	—	македонский	фриг.	—	фригийский
маис.	—	мансийский	чеш.	—	чешский
маньчж.	—	маньчжурский	хант.	—	хантыйский
			хот.-сак.	—	хотано-сакский
			эвенк.	—	эвенкийский
			энецк.	—	энецкий
			япон.	—	японский

SUMMARY

The two fields of reconstruction that are dealt with on the whole in this volume prove to be closely connected with one another as the closing stages of reconstruction. They crown its entire procedure in that they comprise and make use of the results achieved at other levels of reconstruction: the phonetical, morphonological, morphological and (in some cases) the syntactical ones; they take into consideration all the available data and information on the inner system of the language in question, and at the same time it is of vital importance to them to apply to extralinguistic information, to draw on various branches of knowledge dedicated to the study of the past.

These propositions are expounded in the book in connection with particular issues under consideration.

A.S. Melnichuk in the chapter "The Reconstruction of the Proto-Language Lexicon" dwells on the correlation between the proto-language that had actually existed and the one that has been reconstructed through linguistic research work. Though the latter is hypothetic in nature it reflects to a certain extent the real state of the proto-language in the past. The necessity of regarding the proto-language lexicon as a system is demonstrated by several Indo-European and Slavic reconstructions.

In the chapter "The Reconstruction of the Carpathian Regional Component of the Late Proto-Slavic Lexicon" L.A. Gindin and I.A. Kaluzhskaya provide historical, archeological and linguistic data that give grounds for attesting the Carpathian linguistic area as a geographical region where specific processes of the Slavic ethno- and glottogenesis took place during the break-up of the Proto-Slavic community. They also state that it is the Carpathian-Ukrainian—South-Slavic (or even the Carpathian-Slavic—South-Slavic) lexical and lexico-semantic isoglosses that are particularly marked among other linguistic data. Some fragments of the whole bulk of the late Proto-Slavic lexicon of the Carpathian area are listed as well.

V.I. Aslanov in the chapter "On the Problem of Reconstruction at the Lexical Level (Data Drawn from the Azerbaijan Language)" discusses the difficulties that face comparativists when they attempt to reconstruct the original meanings of lexical units. They are illustrated by examples drawn on Turkic sources. When one tries to determine which meaning is to be regarded as archaic and which meaning is to be considered as an innovation one should keep in mind the fact that the meanings of a whole range of words in languages of diverse systems display a striking similarity in their development which is due to

the general character of the human thought. One should also take into account the age when the breaking up of the proto-language had taken place, the way of life of the people and the social relations at that time, the geographic surrounding, etc.

Theoretical problems concerning the reconstruction of the Indo-European poetical language are discussed by V.P. Kaligin in the chapter "The Reconstruction of the Proto-Indo-European Poetical Language". They are as follows: what minimum number of languages undergoing comparison is sufficient for the reconstruction? Is it justifiable to use younger texts for the reconstruction of the proto-language poetics? What are the main principles of arrangement for poetical texts?

O.S. Shirokov in the chapter "Palaeo-Balkan Ethnic Relations According to Phrygian Lexical Data" claims that relics of the Thrakian and Phrygian languages traced out in glosses and inscriptions display quite obviously their relationship with Greek. Thus the language of the Phrygians and the Thrakians cannot be regarded as the ancestor of the Armenian language. There are no traces of consonant shifts and no instances of satem in it.

S.A. Romashko in the chapter "On the Reconstruction of the Language Situation in the East Mediterranean in the II Millennium B.C." examines the possibilities of the language attribution of the so-called Sea-peoples, of the Philistines in particular. The author considers methodical problems and analyses various sources of empirical evidence. Finally he draws the conclusion that the languages of the Sea-peoples seem most possibly to have been related with the ancient Indo-European languages of the Balcan Peninsula and Western Asia Minor.

In the chapter "The Reconstruction of Some Grammatical Features of the Khazar Language" N.Z. Gadjiyeva attempts to reconstruct some features of the Khazar language which once belonged to the Bulgar-Khazar union. The author has worked out a set of ways for reconstructing this extinct language. N.Z. Gadjiyeva makes use of the data from modern Turkic languages of the Black Sea region, from languages of the ancient North Caucasian Region, from the Chuvash language; the author applies to written historical records and to the methods of areal and typological investigations.

In the chapter "The Linguistic Reconstruction of the Samodic language and the Proto-History of the Samodic People" E.A. Khelimsky sets out to locate the place of the breaking-up of the Proto-Samodic Language and its branches as well as to trace the migration routes of the Samodic tribes. The analysis of common Samodic words for plants and animals, of lexical borrowings and of words that reflect various tribal contacts in the past prompts the author to postulate that the original location of the Samodic people was in North-West Siberia.

V.I. Belikov in the chapter "Comparative Linguistics and Creole Languages" analyses the notion of language kinship as applied to creole languages (based on English) and arrives at the conclusion that the genetic relations between a creole language and the language which served as a basis for the springing up of the former one are of a specific character. The author singles out several types of genetic community: genetic kinship, paragenetic and cognate community.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ (Н.З. ГАДЖИЕВА)	3
ВОПРОСЫ РЕКОНСТРУКЦИИ ЛЕКСИЧЕСКОГО СОСТАВА ПРАЯЗЫКОВ (А.С. МЕЛЬНИЧУК)	5
РЕКОНСТРУКЦИЯ КАРПАТСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ПОЗДНЕПРАСЛАВЯНСКОГО ЛЕКСИЧЕСКОГО ФОНДА (Л.А. ГИНДИН, И.А. КАЛУЖСКАЯ)	14
К ПРОБЛЕМЕ РЕКОНСТРУКЦИИ НА ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОМ УРОВНЕ (НА МАТЕРИАЛЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЯЗЫКА) (В.И. АСЛАНОВ) ...	36
ПРОБЛЕМЫ РЕКОНСТРУКЦИИ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО ПОЭТИЧЕСКОГО ЯЗЫКА (В.П. КАЛЫГИН)	48
ПАЛЕОБАЛКАНСКИЕ ЭТНИЧЕСКИЕ СВЯЗИ ПО ДАННЫМ ФРИГИЙСКОЙ ЛЕКСИКИ (О.С. ШИРОКОВ)	57
К РЕКОНСТРУКЦИИ ЯЗЫКОВОЙ СИТУАЦИИ В ВОСТОЧНОМ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ II ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ ДО Н. Э. (ЯЗЫКОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ "НАРОДОВ МОРЯ") (С.А. РОМАШКО)	64
ПРОБЛЕМА РЕКОНСТРУКЦИИ ГРАММАТИЧЕСКИХ ЧЕРТ ХАЗАРСКОГО ЯЗЫКА (Н.З. ГАДЖИЕВА)	76
САМОДИЙСКАЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРАИСТОРИЯ САМОДИЙЦЕВ (Е.А. ХЕЛИМСКИЙ)	86
КОМПАРАТИВИСТИКА И КРЕОЛЬСКИЕ ЯЗЫКИ (В.И. БЕЛИКОВ)	100
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	108
ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ	115
НАЗВАНИЯ ЯЗЫКОВ И ДИАЛЕКТОВ	116
SUMMARY	117

CONTENTS

PREFACE (N.Z. GADJIEVA)	3
THE RECONSTRUCTION OF THE PROTO-LANGUAGE LEXICON (A.S. MELNICHUK)	5
THE RECONSTRUCTION OF THE CARPATHIAN REGIONAL COMPONENT OF THE LATE PROTO-SLAVIC LEXICON (L.A. GINDIN, A.I. KALUZHSKAYA)	14
ON THE PROBLEM OF RECONSTRUCTION AT THE LEXICAL LEVEL (DATA DRAWN FROM THE AZERBAIJAN LANGUAGE) (V.I. ASLANOV)	36
THE RECONSTRUCTION OF THE PROTO-INDO-EUROPEAN POETICAL LANGUAGE (V.P. KALIGIN)	48
PALFO-BALKAN ETHNIC RELATIONS ACCORDING TO PHRYGIAN LEXICAL DATA (O.S. SHIROKOV)	57
ON THE RECONSTRUCTION OF THE LANGUAGE SITUATION IN THE EAST MEDITERRANEAN IN THE II MILLENNIUM B.C. (S.A. ROMASHKO)	64

THE RECONSTRUCTION OF SOME GRAMMATICAL FEATURES OF THE KHAZAR LANGUAGE (N.Z. GADJIYEVA)	76
THE LINGUISTIC RECONSTRUCTION OF THE SAMODIC LANGUAGE AND THE PROTO-HISTORY OF THE SAMODIC PEOPLE (E.A. KHELIMSKY)	86
COMPARATIVE LINGUISTICS AND CREOLE LANGUAGES (V.I. BELI- KOV)	100
BIBLIOGRAPHY	108
LIST OF ABBREVIATIONS	115
LANGUAGES AND DIALECTS	116
SUMMARY	117

Научное издание

Мельничук Александр Семенович, Гиндин Леонид Александрович,
Калужская Ирина Александровна и др.

СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКОВ РАЗНЫХ СЕМЕЙ

Лексическая реконструкция. Реконструкция исчезнувших языков

Утверждено к печати Институтом языкознания АН СССР

Заведующая редакцией *Н.Г. Герасимова*. Редактор издательства *В.С. Матюхина*
Художник *Н.И. Казаков*. Художественный редактор *В.Ю. Яковлев*
Технические редакторы *И.И. Джигоева, О.В. Аредова*. Корректор *Т.И. Липатова*

Набор выполнен в издательстве на электронной фотонаборной системе

ИБ 46325

Подписано к печати 27.03.91. Формат 60 × 90 1/16. Бумага офсетная № 1
Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл.печл. 7,5. Усл.кр.-отт. 7,8. Уч.-издл. 8,8
Тираж 1000 экз. Тип. зак. 1211. Цена 1 р. 80 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство "Наука"
117864 ГСП-7, Москва В-485, Профсоюзная ул., д. 90

Ордена Трудового Красного Знамени 1-я типография издательства "Наука"
199034, Ленинград В-34, 9-я линия, 12